

## Annotation

---

- [Слетов Петр Владимирович](#)
    - 
    - [П. Слетов](#)
    - [Мастерство](#)
-

**Слетов Петр Владимирович**

**Мастерство**

**П. Слетов**

# Мастерство

(Повесть)

Множество людей прошло мимо меня в этой жизни, хоть я и далек еще от старости. Вот уже десять лет, как я обречен скитаниям, посвятив себя святому делу защиты церкви. Братья мои по подвигу веры,

с которыми вместе скрываюсь я от преследования еретиков, грабящих наши страны, храбрые, но неученые люди. Не раз уже слышу я от них просьбы рассказать в назидание потомству о неслыханных преступлениях, насилии и безбожии, царящих ныне повсюду, ибо в наши смутные времена всеобщего греха, паденья и повальных заблуждений я был свидетелем величайших событий, исполненных мерзости.

Но я видел, что этот труд еще не по силам мне. Суровая доля воина не позволяла мне до сих пор отлучиться в родные места, чтобы облегчить душу исповедью, в чем я так сильно нуждаюсь, без чего не найду успокоения. Каждый день я могу ожидать, что какой-нибудь гренадер из войск Мюрата dokonчит меня прикладом ружья, так как кольцо сжимается все уже, и нам, защитникам поколебленного алтаря и трона, приходится скрываться, как загнанным волкам, в заброшенных каменоломнях и глухих садах.

Меж тем безотчетная тоска и беспокойство владеют мною.

Всякий раз, как я получаю отпущение грехов от брата, несущего свой пастырский долг при нашем отряде, я спрашиваю себя, не совершил ли и я непоправимого преступления, не впал ли и я в неискупимый грех, так как сны мои попрежнему полны тяжких видений.

Сомнения смущают меня...

Но по мере того, как я теряю надежду, что смогу когда-либо омочить руку в кропильнице храма Сан-Доминико в Кремоне, как и все города Ломбардии переполненной войсками, я уже не могу дольше заставить себя откладывать этот труд. Вновь запишу подробно и без утайки грехи своей

жизни, отдав на общий суд многократную свою исповедь, и тогда уже с облегченной воспоминаниями совестью примусь за летопись наших общих сует, в чем мню найти завершение дела меча, вложенного мне господом в руки.

Быть может, грозные опасности и искушения, лежащие на пути мастера, о которых хочу поведать людям, предостерегут робких и слабых духом от многого, чему послужил я в жизни.

Пусть же судят меня по грехам моим.

Я, Мартино Форести, родился в деревне ле Торри, близ Кремоны, и ношу имя моей матери, так как отца моего не знал никто. Мать говорила, что он умер от пьянства до моего рождения. Деревенские же сплетницы указывали на отца Пьетро от Сан-Сигизмондо, о чем я не допускаю даже мысли, так как лишь отъявленный богохульник может бросить такое подозрение на служителя церкви. Я знаю только, что мать моя стирала ему белье, а отец Пьетро никогда не оставял ее наставлением и добрым словом, что и давало, очевидно, повод к сплетням.

В раннем детстве я не знал ничего хорошего. Мать часто упрекала меня в том, что я появился на свет, что я обуза в ее трудной жизни. Я не любил матери. Деревенские мальчишки дразнили меня поповским ублюдком, я бил их поодиночке, так как был силен, хоть и мал ростом, но они мстили мне скопом.

Била меня и мать, говоря, что я строптив, называя меня божьим наказаньем, посланным ей за грехи. Я рос нелюдимым и диким. Только отец Пьетро беседовал часто со мной, - от него я впервые услышал слово божье и навсегда проникся страхом перед ожидающим нас всех возмездием в день страшного суда.

Матери часто не было дома, она уходила на работу в Кремону, а я, предоставленный сам себе, покинутый и презираемый сверстниками, искал утешения в том, что бродил, голодный, с нашими пастухами по полям и оврагам.

Желая приучить меня к делу, мать отдавала меня в помощь то бондарю, то кожевнику, но и там я познал лишь побои, не успев научиться ничему, так как, к моему несчастью, кожевник вскоре умер, а бондарь покинул нашу деревню.

Так было до тех пор, пока мне не исполнилось тринадцать лет. Однажды я застал, вернувшись к вечеру, в нашем доме отца Пьетро, разговаривающим с матерью. Она его смиренно благодарила.

-- Поцелуй руку отцу Пьетро, - сказала она. - Он сделал для тебя

большое благодеяние. Завтра я отведу тебя в Кремону к Луиджи Руджери, который, по просьбе отца Пьетро, берет тебя в ученики.

Кто был Луиджи Руджери, я этого тогда не знал. Лучше бы мне этого никогда не знать...

На следующий день мать починила дыры на моем платье, и мы отправились в Кремону. Мы вошли через ворота Огнизанти, и нам пришлось пересечь весь город, прежде чем мы достигли дома, стоявшего у Порта По. Был праздник Всех Святых, широкие улицы были полны народа, и Луиджи встретил нас одетый в новый кафтан из немецкого сукна. Я еще никогда не видел такой богатой одежды и решил, что скрипичный мастер - это все равно, что генерал.

-- Какой же ты крепыш, - сказал он, и мне показалось, что улыбка его полна прямодушия, а весь он воплощение красоты. Что он был красив со своим высоким лбом, орлиным носом и голубыми глазами - это верно, это я и теперь скажу. Но как обманчива оказалась его открытая и добродушная внешность, в этом я убедился впоследствии.

Он сурово остановил мою мать, всхлипывавшую больше от радости, что избавляется от меня, и она ушла, попрощавшись со мной. С тех пор я видел ее только один раз - на следующий год она навестила меня на праздник Всех Святых и скоро померла.

Я остался с Руджери в его маленьком доме у Порта По, врученный божьей волей его руководству. Что бы было со мной, если б раньше отец Пьетро не позаботился о том, чтобы наставить меня на христианский путь! Его забота дала мне на всю жизнь твердые правила. Ему я обязан и тем, что, получив назначение в дальний монастырь в Сардинию, он поручил меня своему другу и брату, отцу Себастьяну, о котором мне придется еще не раз упомянуть.

Когда я переступил впервые порог дома Луиджи Руджери, я был подростком запуганным, одичавшим, но с детской душой, доступной всяким внушениям, как хорошим, так и дурным. Луиджи жил одиноко, не знаясь с дальней родней своих покойных родителей, проживавшей в Кремоне; к нему захаживали изредка только собратья его по ремеслу, один из которых, Антонио Капо, старый друг отца Пьетро, посодействовал моему водворению у Луиджи Руджери.

И только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, каким искушениям была подвергнута моя еще не сложившаяся душа в эти годы совместной жизни с таким обреченным человеком, как Луиджи.

Но, сказать по правде, первое время я не видел ничего, кроме хорошего, в перемене своей судьбы. Луиджи не обременял меня

обязанностями. Кроме варки обеда, у меня не было других дел как сидеть и наблюдать работу Луиджи, подавать ему инструменты и помогать в том, что не требовало сноровки. В доме его, состоявшем из жилой комнаты, мастерской и кухни, ничто не было для меня запретным, и я бесконечно рассматривал то, что было для меня так ново: множество рисунков, сделанных рукой Луиджи и развешанных на стенах, резные деревянные фигуры, которыми он любил забавляться в иные дни, и тисненные переплеты книг, стоявших в небольшом шкафу. Как все это было не похоже на то, чем был я окружен в деревне! Вспоминая прежнюю нищету и побои, сравнивая ласковое отношение Луиджи с грубостью моих старых хозяев, я готов был целовать ему руки и всячески угождать.

Когда я увидел впервые в его мастерской лекала, патроны, заготовленные скрипичные части и уже готовые отлакированные скрипки, просыхавшие в сушилке, мне не верилось, что я смогу когда-нибудь овладеть этим умением вырезать такие тонкие вещи. Меня поражал звук скрипки - до тех пор я слышал скрипичную игру только в церквях. Луиджи играл хорошо, и я слушал его, разинув рот.

-- Хочешь ли играть, как я? - спросил Луиджи.

-- Хочу, - ответил я, но Луиджи, вместо того, чтобы начать меня учить, сказал:

-- Будешь со временем, может быть, лучше. Иди-ка прогуляйся. Посмотри колокольню Торраццо, посмотри Палаццо де Гвириконзульти и не возвращайся раньше, чем не устанешь как следует.

Так отсылал он меня много раз, и я побывал во всех церквях Кремоны: святого ангела, св. Луки, св. Франциска, Доната, Эразма, Лючии и других. Мне нравилось это, но я не понимал, зачем Луиджи отпускает меня по будням, лишая себя моей помощи.

Мало-по-малу, присматриваясь к его работе, я стал кое-что понимать и мог бы уже помогать ему долбить и начерно заготавливать нужное, но Луиджи внезапно решил засадить меня за грамоту. Это было для меня трудно, но я старался, и вскоре Луиджи похвалил меня:

-- У тебя есть упорство, - сказал он. - Ты можешь работать.

Его похвала так ободрила меня, что я стал отдавать чтению и письму все досуги. Я успел в этом настолько, что впоследствии, когда господу было угодно соединить мою жизнь с людьми, преданными церкви, но простыми и неучеными, мое искусство в грамоте пригодились как нельзя лучше, ибо часто случалось мне быть в наших отрядах писарем и выручать в иных делах, требующих умения в письме и чтении.

Но недолго Луиджи удовлетворился этим и скоро нагрузил меня новым

занятием - стал учить рисованию и, наконец, скрипичной игре. Быть может, оттого, что я уже пристрастился к чтению, получая книги от отца Себастьяна, библиотекаря доминиканцев, рисование показалось мне трудным и излишним занятием. Хочу теперь же сказать, что книги божественного содержания заполняли все мои мысли и действовали неотразимо на мой ум, что доказывает неиспорченность моей души, почему, быть может, божественный промысел и не дал мне в конце концов уклониться от верного пути. Отец Себастьян охотно руководил моим чтением и снабжал книгами, в чем я опять-таки нахожу несомненную пользу для себя, так как в жизни мы часто видим примеры, что дурное чтение является причиной гибели человека.

Насколько вначале Луиджи покровительствовал моему чтению, настолько теперь он стал относиться к нему неодобрительно. Это стало мне в особенности понятно с тех пор, как он дал мне почитать "Божественную комедию" Данте и какую-то книгу Беттинелли.

-- Довольно тебе, - сказал Луиджи, - рыться в житиях святых. Прочитай-ка вот это и расскажи мне, что поймешь.

Не стану утверждать, что книги были неинтересные. Но я сказал о них отцу Себастьяну, а он разъяснил мне, насколько первая является истинным христианским подвигом и насколько вторая, возводящая хулу на первую, - плодом ереси, навеянной французским безбожником Вольтером. Отец Себастьян посоветовал мне прекратить греховное чтение, что я и сделал. Но так как, возвращая книги, я должен был рассказать Луиджи содержание, то мне пришлось признаться ему, что, боясь греха, я не стал кончать второй книги.

Я помню, когда я сказал ему это, сославшись на совет отца Себастьяна, глаза Луиджи сузились как от гнева, и он ответил мне:

-- Как хочешь, я не неволю тебя. Правда, ты еще мал и глуп, следовало бы запретить тебе якшание с попами, но я не хочу вмешиваться в то, в чем ты, авось, разберешься после, когда вырастешь. Не вечно же им морочить народ...

С этих пор он не пытался приохотить меня к своему чтению, но тем настойчивей привлек к рисованию. Я делал орнаменты по листам его старых, еще ученических рисунков, а он руководил мною, добиваясь от меня недававшейся мне чистоты.

-- Поработай над этим, - говорил он. - Быть может, это даст тебе необходимый толчок и избавит от пристрастия к монашескому чтению. Помни, что это - важный шаг к мастерству: не усвоишь рисунка - не овладеешь и формой скрипки, будешь всегда работать по шаблону. Будь

прилежен и в игре, изучи инструмент, который будешь делать, слушай звук и думай о том, каков он должен быть. Это задача всей жизни мастера - уметь найти свое собственное понимание наилучшего звука, - займись же ею не медля и никогда не считай ее решенной.

Я покорно играл, изучая ноты и строй смычковых инструментов, и ежедневно рисовал.

Но если в игре я еще продвигался вперед, то рисование мое шло, как я уже упоминал, трудно. Уголь ломался в моих пальцах, прямая линия плохо давалась мне. Луиджи требовал от меня терпения и, видит бог, я старался, несмотря на свое отвращение к этому занятию.

Он присматривался тщательно к каждому моему рисунку, а однажды вдруг спросил меня:

-- Расскажи-ка мне, что ты видел в Кремоне в тех церквях, куда ходил, и что тебе больше всего понравилось.

Я долго рассказывал ему обо всем, что меня поразило: о хоругвях отцов францисканцев, о выносе даров в соборе и об облачении на епископских мессах. Должен сказать, что утомленное ученьем воображение мое невольно привлекалось величием богослужений, и я временами упорно мечтал о святом призвании пастыря стада Христова. Отсюда все, что связано было со святой католической церковью, навсегда приковывало мое еще детское внимание.

-- Это все? - спрашивал меня нетерпеливо Луиджи. - И больше ты ничего не вынес? А что ты скажешь о Бокаччио и Камилло Бокаччини, Кампи, Альтобелло Мелоне, Бембо, Гатти? Неужели ты не запомнил в соборе "Жизни девы Марии", "Явления во храм" и "Бегства из Египта"? А "Христос перед Пилатом" Порденоне? И его же "Распятие Христа"?

Неужели не помнишь в церкви Сан-Августино и Джиакомо "Мадонну меж двумя святыми" Перуджино и фрески Бонифацио Бембо?.. Тебе не врезалось это в память?..

-- О, - отвечал я подавленно, - я все это видел, но плохо помню.

-- Что же ты запомнил?

-- Я помню "Страшный суд"...

-- Ну вот, опять страшный суд, - перебил он гневно и задумался. - Твоя мать, - сказал он, - вручила мне тебя не для того, чтоб я из тебя сделал монаха. Для этого было бы достаточно отца Пьетро или Себастьяна. Я должен сделать из тебя мастера. Поэтому все твои увлечения мало меня трогают, - по-моему, это потерянное время. Сходи еще раз и посмотри все фрески этих художников, да поменьше думай о том, как будешь мучиться в аду, а постарайся вникнуть в рисунок и композицию. В соборе увидишь на

хорах деревянную резьбу Джаованни Платина и Пьетро далла Тарсиа, а в ризнице церкви Сан-Аббондио - резные шкафы того же Платина... И если это тебя ничему не научит, то останется только пожалеть.

Да, я был еще раз в этих храмах и до одури смотрел на это дерево, о котором говорил Луиджи, причем, признаюсь, мне приходилось бороться с чувством благочестия, побуждавшим меня к коленопреклоненной молитве, чтобы быть внимательным и вместо того стараться запомнить особенности резьбы. Я делал это в угоду Луиджи, так как он меня подробно и настойчиво расспрашивал. Теперь я хорошо понимаю, что его цель была заставить меня смотреть на это как на дело рук человеческих, в то время как я не мог не чувствовать святости этих предметов, сообщенной высоким назначением дома молитвы, в котором они находились. Но и тогда уже я стал ощущать в душе невольную неприязнь к этому направлению моих занятий, которое давал Луиджи.

Быть может, поэтому, в противовес влиянию Луиджи, во мне росло желание ближе узнать и поклониться не материалу, из которого делаются предметы церковной утвари, но той тайне, которая делает эти простые предметы священными. Я говорил с отцом Себастьяном, я умолял его, конечно, тайком от Луиджи, и он согласился учить меня языку нашего священного писания - латыни. Эти занятия были мне также не легки, но я преодолевал трудности с жаром и одушевлением. Никогда в жизни не забуду этих часов, украдкой проводимых мною в келье отца Себастьяна. Я хорошо знал, что Луиджи счел бы их несвоевременными, и ничего не говорил ему о них.

Так прошло два года - время, в течение которого прямая работа над скрипкой, ради которой я жил у Луиджи, оставалась так же далекой для меня, как в день, когда я впервые постучался в двери его дома. В этом вопросе Луиджи не проявлял торопливости, что доставляло мне повод беспокоиться за успешность моего учения, тем более, что незаметно для себя я уже не представлял себе другой будущности, как ремесло скрипичного мастера. Даже мечты о служении богу, волновавшие меня порой, отступали перед этим привычным представлением об ожидавшем меня поприще. В то же время Луиджи любил повторять, что если бог следит за людскими делами, то ему несравненно угоднее мастерство во всяком возможном деле, чем бездельная, как он утверждал, жизнь монаха. И мое воображение, испытывая постоянный напор этих внушений, все чаще рисовало мне будущий успех, похвалы и восхищение окружающих, заказы чужеземных владетельных дворов и высокую оплату моих будущих инструментов.

Время шло, мы жили довольно замкнуто, - я и Луиджи. Естественно, что те несогласия, которые происходили от несходства наших характеров, должны были расти по мере того, как я мужал и освобождался от обаяния Луиджи, так наполнявшего меня ранее. Я помню в первые дни я относился ко всей его работе с благоговением, но мало-по-малу мое отношение менялось. На многое раскрыл мне глаза отец Себастьян, многое я и сам увидел, наблюдая жизнь Луиджи.

Он был упорен и постоянен только в работе, что объяснялось, впрочем, особыми причинами, о которых я расскажу дальше. В остальном это был человек самый непостоянный, какого я когда-либо видел. То он по целым дням рисовал, в чем был весьма искусен, то, не окончив рисунка, пропадал на берегах По, то принимался читать и тогда либо смеялся сам себе, либо бранился вслух. Иногда он зазывал товарищей и устраивал попойку, сильно при этом напиваясь. Такая жизнь лишала его подчас выгодных заказчиков, с которыми он держал себя чересчур заносчиво. Скрипичные мастера его уважали за его работу, однако Карло Бергонци не раз говорил:

-- Луиджи хороший мастер. Но сказать последнее слово о нем можно будет только тогда, когда он переберется. Ему нужно жениться на хорошей женщине. Наталина из него сделает, пожалуй, человека.

Наталина была невестой Луиджи. Они были друзьями детства - Луиджи и Наталина, - но ее отец слышать не хотел о свадьбе, пока у Луиджи не будет прочного положения. Они жили неподалеку, и Наталина часто забегала к нам. Родители ее были честные люди строгих правил, и ей подчас доставалось от них. Нужно было только удивляться Луиджи, который так беспечно относился к будущему и не заботился о том, чтобы положить все силы на работу для своего же счастья. Наталина была красавицей и любила его, повидимому, больше, чем он заслуживал.

Посещения Наталины действовали на него по-разному. То он горячо принимался за скрипки, а то бросал раз начатую работу и принимался рассуждать вслух, причем чаще всего обращался с поучениями ко мне, как будто я уже самостоятельный мастер. На самом же деле я едва лишь приступил к самому мастерству и впервые узнал, сколько сложности скрывается в этих на вид простых инструментах. Кое-что из рассуждений Луиджи мне запомнилось, как, например, следующее:

-- Изучай дерево, - говорил он. - Узнай клен и ель, ольху и иву. С деревом не торопись. Пусть оно лежит приобретенным долгие годы. Не доверяй своему поставщику, когда он клянется, что дерево вылежалось и готово хоть сейчас в работу. Пусть лежит оно в твоей мастерской, а ты

подходи к заготовкам и переворачивай их по временам, думай о них, постукивай, примеряй к тому или другому случаю - подойдет или нет. Прежде чем распилить, угадай до конца, как будет звучать и выглядеть взятая часть. Когда ты изучишь его таким образом, у тебя не будет колебаний, ты поймешь, что возможен только один распил, одно-единственное наилучшее расчленение.

Только вылежавшееся дерево надежно. В нем жизнь уже замерла, все слои его слежались, все соки перебродили в древесное вино - смолу, связавшую жизнь. И вот ты берешь и пилишь чурбан по зеркалу. Если взял ты ель с волнистой ниткой, посмотри, какой чудесный рисунок получится у тебя. Присмотрись, поднеси к глазам - это целая риза, да, это всплеск воды под ночным небом... Ты снимешь рубанком один только волос - и все переплеснется и заиграет по-новому.

Распили на торец - прерванные нити брызнут как лучи от хвоста кометы и соединятся в беспокойный пламенный узор. Приложи ухо, попробуй согнуть, взвесь на руке - в этом радость познания.

Помни, что писал на своих инструментах таинственный Дуиффопруггаро, в бреду, в темноте находя прообраз скрипки:

При жизни я молчало в тишине лесов,  
По смерти, возродясь, пою без слов.

Он знал, что дерево живет, и кончал шейку не завитком, как мы, а головой певца, так как понимал, что не наново создает звук, а освобождает то звучанье, что заложено в дереве...

-- Лекала и патрон облегчают работу, - говорил Луиджи в другой раз. - Но если ты будешь работать по ним как сапожник по колодке, то, поистине, никогда ничего хорошего не сделаешь в жизни. Форма - это то, что дает право каждой вещи на земле называться своим именем, а в искусстве она бережет силы души, погруженной в ее лоно. Но горе тебе, если ты не сумел заглянуть за поверхность формы. Вот ты знаешь у скрипки - деки, своды их, эсы и эфы. Но если своды застыли в своем выгибе, а эфы и эсы закаменели в рисунке, и все это не гнется в предельно точном усилии твоих пальцев, - не понял ты формы, не овладел ты ею, а она подавила тебя и замкнула в случайном своем выражении.

О мастерах он говорил:

-- Они не спорят о том, какое дерево употреблять, - все знают, что лучше хорошее. Но один боится его потому, что оно дорого, а другой потому, что им не легко владеть. Есть, впрочем, и такие, которые, наоборот,

все делают из лучших материалов, чтобы этим повысить спрос на свои инструменты. Слов нет, дорогое дерево повысит качество инструмента, но если рисунок его пышен, то нельзя отыгрываться только на нем. Знай, что природа наделяет наилучшим звуком дерево, возросшее на сухих горных песках, и лучшие части его - это тощие слои, обращенные к северу. Научись подражать природе. Роскошный рисунок разбивает форму, сбивает с толку глаз мастера, и если мастер не сумеет удержаться в своем замысле, то он впадет в зависимость от своих материалов, и в лучшем случае у него получится ублюдок. У дерева, даже мертвого, есть своя собственная жизнь. Умей не искалечить ее, а освободить и в то же время дать новую жизнь инструменту, вдохнув в него свою душу. Но при этом больше всего нужно думать и помнить о звуке. Ценна только та работа, у которой есть ясно поставленная цель - собственное продуманное, прочувствованное представление о звуке. Звук - главное. Иначе - материал и форма будут плясать пустую ненужную пляску.

Все свои рассуждения Луиджи произносил с таким торжественным видом, что меня сначала часто разбирал смех. Но по мере того, как время шло и я все больше загорался нетерпением постигнуть мастерство, - потому что ведь за рассуждения денег не платят, - я стал настойчивее приставать к Луиджи, добиваясь его указаний.

Не всегда мне это удавалось, и, понятно, мое учение подвигалось туго. Правда, я не скажу, что Луиджи отказывал мне в разъяснениях на мои вопросы или не обращал на меня внимания. Но, как и в рисовании, он молча смотрел на мои ошибки и лишь потом начинал беспощадно хулить мою работу опять в длинных рассуждениях, мало понятных для меня. Затем он принимался показывать мне, объяснять очень подробно, и пальцы его работали с ловкостью, которой я никак не мог уловить и повторить, так как все сделанное им он тотчас же уничтожал, требуя от меня, чтобы я повторял его указания на память. Я пытался, но ничего не выходило. Глядя на сделанные мною мелкие части - углы, усы или головку - Луиджи покачивал головой и говорил, что я туповат.

Тогда я приходил в отчаянье и старался хоть чем-нибудь угодить ему: я часто переворачивал бревна заготовленного дерева, чтобы они лучше и равномернее просохли, искал места, где бы подешевле купить его, и таскал на своих плечах издалека в мастерскую, потому что силой меня бог не обидел.

Но все было напрасно. Луиджи проверял, как я накладывал зажимы при склейке дек, и говорил:

-- Вот опять ты зажал, - как будто у тебя не скрипка, а бочка и ты на

нее наколачиваешь обручи. Силой ничего не возьмешь. Подумай о том, чтобы свою грубую силу рук превратить в силу линии, потому что, как бы ты ни был силен, - кроме того, что треснут деки или обечайки, - ничего не выйдет, и тебя, несмотря на все молитвы монахов, сожрут черви в могиле. А сила, вложенная в прекрасную линию скрипки, будет жить и в звуке и в действии на человеческий глаз.

Это было непонятно для меня, как почти половина из того, что говорил Луиджи, но я делал вид, что верю ему. Лучше бы он сказал мне точно толщины дек и высоту сводов, - я постарался бы вырезать как можно более тщательно. Но он предпочитал отделяться посторонними замечаниями в роде упоминания о червях. Он знал, что я боюсь кары господней и не люблю, когда при мне оскорбляют святую церковь подобными утверждениями.

Вообще я стал замечать, что он раздражается очень легко. Правду сказать, Луиджи никогда не следовал примеру других мастеров, подолгу державших своих учеников на черной работе, не имеющей отношения к мастерству. Я готовил простой обед для нас обоих и был свободен от всего остального. Всю иную домашнюю работу, как и все покупки Луиджи делал сам, так что я всегда мог следить за его работой. Но, не обременяя меня поручениями, он не привлекал и к мастерству - только вначале сделал попытку поручать мне изготовление мелких частей и варку клея и после первых же моих неудач отказался от моей помощи, что меня сильно обескуражило. Зато он никогда не отказывал мне в дереве и, неожиданно для меня, сам настоял на том, чтобы я начал свою первую скрипку.

-- Поработай над ней, - сказал он. - Она научит тебя большему, чем десяток мастеров вместе взятых.

С каким жаром я принялся за работу! Это было для меня таким неожиданным счастьем, таким праздником, что я первое время не мог даже спать по ночам и то и дело вставал с постели, чтобы хоть при лунном свете взглянуть на куски дерева, мало-по-малу под моей стамеской принимавшие форму патрона. Меня особенно подбадривала мысль, что Луиджи замечает успехи в моем учении.

Я делал скрипку около трех месяцев. По мере того, как части принимали отделанный вид и я примерно соединял их, для меня все больше терялась разница между теми скрипками, что я видел кругом, и моей собственной. Я мечтал, как поставлю свою этикетку: "Martino Foresti sotto la disciplina di Luigi Rugeri 1795". Эта надпись заранее наполняла меня гордостью, я предчувствовал тот час, когда покажу готовую скрипку Луиджи.

Он между тем иногда подходил ко мне, наблюдал некоторое время за моей работой и отходил молча, не отвечая даже на мои вопросы. Он не сделал ни малейшего знака порицания или одобрения, кроме того, что я упомянул уже про склейку дек.

Я работал старательно и прилежно, как мог. Перед тем как склеить, я выжег на нижней деке "sotto la disciplina" и зажал в тиски. Как только скрипка высохла, я явился с нею к Луиджи, но он жестом отстранил меня:

-- Покажешь, когда отлакируешь.

Я отлакировал и еще две недели сгорал от нетерпения, пока скрипка сохла у нас в секкадоре. Наконец наступил долгожданный час, когда лак просох совершенно.

Луиджи принял скрипку из моих рук и с недвижным лицом молча рассматривал, повертывая ее в разные стороны. Я смотрел на него во все глаза, стараясь угадать впечатление. От ожидания, от предчувствия близкого радостного торжества и некоторого страха я весь похолодел. Вдруг брови его насупились, он читал через эф мою этикетку.

-- Уничтожь сейчас же, - сказал он отрывисто.

-- Я думал... - начал я, пораженный.

-- Сейчас же, - прикрикнул он. - Как ты смел без спроса путать мое имя с этой дрянью?

И он кивнул головой на мою скрипку.

Я не знаю, что случилось тут со мной. Я, кажется, остолбенел. До сих пор меня пронизывает дрожь, когда я вспоминаю высокомерие, с которым он произнес эти слова. Более надругаться над моим чувством было невозможно.

Быть может, Луиджи еще что говорил - я не слышал этого в своем оцепенении. Затем я бросился опрометью из дома...

Я бежал долго и неумоимо, не замечая окружающего. Ноги мои невольно привели меня к собору, но в эту минуту я не мог молиться, полный противоречивых чувств. Я опустился на мраморные плиты под лоджиями, соединяющими храм с Торраццо, и лежал, уткнувши лицо в ладони.

Не знаю, сколько прошло времени, когда я поднял наконец голову. Солнце уже зашло, но было еще светло. Серые и розовые плиты мрамора, накаленные дневным солнцем, были еще горячи. Мне показалось, что я как будто родился вновь, к какой-то невыразимо тяжелой мертвой жизни. Я чувствовал себя смертельно оскорбленным, в душе была пустота, нужно было совершенно по-новому жить, я знал, что не могу уже смотреть в лицо окружающим так же открыто и уверенно, как доселе. И этому виной был

Луиджи.

Я хотел встать и начать свою новую, еще не известную мне жизнь молитвой. Тяжелые двери собора, всегда открытые для страждущих душ, ждали меня, обещая утешение. Но в это время сзади послышались звонкие шаги, и, еще не видя, я понял, что это Луиджи.

Я прижался к плите. Он положил руку мне на плечо и опустился рядом. Долгое время мы оба молчали, я вздрагивал по временам от приступов рыдания. Затем он стал говорить, стараясь придать своему голосу как можно больше мягкости. Он говорил о том, что не хотел меня обидеть, так как я беспомощный сирота, вверенный его попечениям, что ничего нет странного в том, когда первая скрипка выходит негодной. Он пытался меня утешить тем, что шутил и подсмеивался над собой.

-- Ты должен понять меня, грубияна, - говорил он. - Я старался предоставить тебе как можно больше свободного времени для того, чтобы ты мог овладеть необходимыми для мастера знаниями: рисунком, знанием дерева, скрипичной игры и общими сведениями. Вот уже скоро три года, как ты у меня. И ты был прилежен, - я совсем не хочу быть несправедливым. Но ты ведь знаешь, я против того, чтобы учить из-под рук. По моему разумению, лучше, чтобы ты сразу взялся за целую скрипку. Ты сделал ее хуже, чем если бы ты раньше работал на мелочах, но напрасно думать вообще, что ты сделал скрипку, - это просто дерево, которое ты портишь, учась. Не нужно же быть самонадеянным, не нужно воображать того, чего нет. Это не скрипка, - согласен ли ты с этим? - это никуда не годный лом. Не мог же я тебе позволить поставить на нем: "sotto la disciplina". А то, что я был грубоват, то ты сам заслужил это своей самонадеянностью. Мастер должен быть прежде всего скромн и строг к себе...

Я долго слушал его разглагольствования. Они больше не волновали меня. В этот день, в эти часы я навсегда потерял остаток детской доверчивости к словам Луиджи.

Но я все еще не понимал его. Так, я не мог себе представить, зачем я ему, зачем он согласился в свое время на просьбу Капо, ходатая отца Пьетро, зачем возится со мной. Он делал все, чтобы заговорить меня, но ни разу в его словах я не услышал какого-либо поощрения, похвалы, признания моих способностей. А я слишком хорошо знал, что для Луиджи не было человека выше мастера, а талант он считал лучшим даром, чем благороднейшее происхождение и величайшее богатство. Поэтому-то он относился с таким пренебрежением к самому уважаемому человеку, раз он не артист и не мастер в каком-либо искусстве. Поэтому-то он говорил

всегда свысока со всеми, кроме Бергонци, Сториони и еще немногих других. Но я положил про себя подождать со всеми сомнениями.

-- Пойдем-ка домой, - закончил меж тем Луиджи. - Смотри, уже совсем темно... Дома мы разберемся спокойнее в твоей скрипке.

И я дал себя увлечь.

Дома Луиджи снова изменил свое отношение, и мне пришлось собрать силы для того, чтобы выслушать его жестокие, полные суровой насмешки суждения. Мне это далось не легко.

-- Я понимаю, - говорил он, - тебе не терпелось, ты бегал в секкадор и беспрерывно любовался своим детищем. Но получилось то, что лак везде носит следы твоей пятерни, на нем нет живого места. Обечайки перекошены. Шейка неуклюжа, а о головке и говорить не стоит, - до того она беспомощна. Усы ты врезал плохо - то паз широк, то ус не влезает в него, - и ты не потрудился даже сравнять его повсюду заподлицо с декой. На деках не буду даже останавливаться... Что до звука, то скажи, слышал ли ты когда что-либо гаже?..

Долго говорил еще Луиджи в таком роде, а я стоял перед ним как обличаемый преступник. Сознаюсь, многое в его словах было справедливо, - я и сам видел это раньше, - но мне не казалось это столь важным. А теперь Луиджи своими безжалостными словами лишил меня всякого удовлетворения своей работой.

В тот день я заснул с безнадежным сердцем. На следующее утро я уничтожил злосчастную этикетку, но что-то мне подсказало отнести мою скрипку к Антонио Капо на отзыв. Однако меня ожидало не лучшее. Капо высмеял меня перед всей своей мастерской, сказавши, что ничего хуже он в жизни не видел и что Луиджи напрасно дает мне портить материалы.

Когда я уходил от него, меня догнал Паоло, его ученик.

-- Не тужи, - сказал он, - не стоит того. Эти мастера нарочно морочат нас, придумывая всякие басни о своем мастерстве, а сами держат про себя секреты. Это нарочно, чтобы не дать ученикам стать мастерами, - иначе слишком много бы их развелось. Ты им поменьше верь.

Эти слова глубоко запали мне в душу; в своем положении я хорошо понимал истину, заложенную в них.

Ведь не могло же быть, чтобы в моей скрипке так-таки не было ничего хорошего. Почему же никто не хотел отметить этого хорошего.

Как и всегда в тяжелых переживаниях, моя мысль обратилась к богу. Я жарко молился о ниспослании мне сил и успеха в работе. Все деньги, которые мне давал иногда Луиджи, я тратил на свечи и другие пожертвования храму доминиканцев.

Но Луиджи, казалось, стал с этого времени обращать на меня гораздо меньше внимания. Он не интересовался тем, что я делаю, и это меня радовало. Я часто отлучался к отцу Себастьяну, поверяя ему свои несчастья. Отец Себастьян тогда уже сильно хворал, его мучил застарелый недуг, но он выслушивал меня всякий раз терпеливо, наставлял и благословлял краткой молитвой. Он знал, что мне не легко жилось в доме такого легкомысленного и неверующего человека, каков был Луиджи.

Еще в одном человеке я встретил участие, взволновавшее меня до глубины души. Это была Наталина. Она и сама, я думаю, не раз имела повод испытывать недовольство черствостью Луиджи, который, казалось, и не помышлял о том, чтобы заработать побольше денег и тем приблизить свадьбу, а вместо этого предпочитал иной раз целыми днями пропадать на островах По, что в стороне Пьячченцы, играть на скрипке или бражничать с друзьями.

-- Не дается тебе, - сказала мне однажды Наталина, увидев, что я вырезаю головку. - Ничего, не отчаивайся, научишься - будешь работать не хуже других.

С тех пор я, помню, всегда старался поймать хоть взгляд ее ласковых глаз, хоть почувствовать веянье воздуха от накинутаго на ее плечи, расцвеченного большими цветами, легкого меццаро, подаренного ей Луиджи. И она, видимо, уловив это, подсаживалась иногда мимоходом ко мне и дружелюбно болтала со мной, чем доставляла мне большое утешение и поддержку.

Луиджи, как я сказал, мало обращал на меня внимания, тем более, что к этому времени он принялся за большую работу, заказанную ему - два квартета, - и, кроме того, ему надлежало закончить починку трех скрипок, которую он весьма затянул, пренебрегая такой работой, дававшей, однако, не плохой доход. Он ходил сосредоточенный и молчаливый. Как вдруг к этому времени произошел случай, который доставил мне новое незаслуженное унижение.

Около нашего дома появилась приблудшая собака. Сперва она приходила рыться в отбросах, а потом и вовсе поселилась где-то недалеко под сгнившим боченком. Эта сука мне сразу опротивила своим воем по ночам. Я знаю, что это не к добру, а когда меня постигли неудачи, то этот вой тем более нагонял на меня тоску. Вскоре она оценилась и еще чаще стала попадаться на глаза.

Однажды, выйдя на пустырь с особенно тягостным чувством своей незадачливости, я брел вперед, не думая о том, куда иду. Был поздний вечер, месяц был на ущербе и светил тонким светом, я едва различал

лежащие кругом кучи мусора. Вдруг я наступил на что-то живое, послышался визг, проклятая сука вырвалась у меня из-под ноги, одновременно укусив меня, и пустилась наутек. Я бросил ей вдогонку несколько камней, но, разумеется, не попал и поклялся ее доконать как можно скорее.

На следующее утро я перешиб ей хребет как раз в то время, когда Луиджи вышел из дома на ее вой и визг. Он подбежал ко мне, когда она уже издыхала.

-- Какое ты все-таки тупое и злобное животное, - сказал мне Луиджи и посмотрел на меня с отвращением. - Нет, ты никогда не будешь хорошим мастером, - прибавил он убежденно, - тебе нужно бы стать мясником.

Ни этого взгляда, ни этих слов я не забыл ему всю жизнь. Тут-то я почувствовал вполне, что он относится ко мне как к низшему существу, считая себя каким-то избранным.

Все же я не хотел ссоры. Подслеповатые щенята расползлись, на них было смешно смотреть, но я отказался от забавы и покончил с ними, пока Луиджи их не увидел. Странное дело, ему была мила всякая тварь, как будто милей человека, - он охотно их рисовал, а сам-то никогда не завел в доме даже котенка, не желая из лени за ним ходить. И к собачьему вою он относился спокойно, высмеивая меня.

Впрочем, он многое высмеивал из того, что уважают старые люди. Он не блюл постов и не чтил праздников. Для него ничего не значило, когда женщина родит шестипалого ребенка или ребенка с звериной головой. Он смеялся над гадальщиками и над предзнаменованиями, не верил в сны и в существование саламандры. Спорить с ним я не хотел, но я все больше убеждался, что в основе всего этого было безбожие, отличавшее Луиджи. Однако он был хитер: чем больше я присматривался к нему, тем больше я замечал, что это безбожие не спроста, не от маловерия, что он подменил чем-то веру в промысл божий и осквернил свою душу каким-то тайным учением.

Меня всегда поражало его отношение к работе. Он имел какие-то свои цели, питаемые тщеславием, - это было ясно. Но было в нем и непонятное. Он гнушался подчас заработка и долго не выпускал из своих рук сделанного инструмента, играя на нем, а то и просто рассматривая его подолгу. Здесь говорило не только тщеславие - не мог же он думать, что его работы верх искусства. Не верю я и в его утверждения, что ему жаль расстаться с инструментом, так как деньги все же лучше самого лучшего инструмента. Да и чему же мог он научиться на своей же работе? Когда я ему говорил об этом, он только усмеялся и отмалчивался. Но один признак

натолкнул меня на разгадку, - это значок, который он ставил с некоторых пор на своих этикетках. Он не был похож ни на крест, ни на какой-либо другой знак, употреблявшийся старыми мастерами, и представлял собою линию с завитками по концам, напоминавшую лежащий эф, и под ней буквы L. F. E.

Я долго ломал себе голову над этим значком. И когда я сопоставил его с некоторыми обмолвками Луиджи, с его разговорами наедине со скрипкой, как с живым существом, с его утверждением, что в каждом инструменте есть своя собственная душа, кое-что становилось мне понятным. Однако до поры до времени я хранил свои подозрения про себя.

Немного оправившись от первых тягостных разочарований, я принялся за свою вторую скрипку. На этот раз это случилось без всяких настояний Луиджи. Теперь я работал гораздо спокойнее, не лелея больших надежд, так как знал, что при таком способе обучения, которого держался Луиджи, я могу рассчитывать лишь на самого себя, а таким образом многого не достигнешь. Если бы я был учеником какого-либо другого мастера, я уверен, что все пошло бы иначе, но моя несчастная судьба столкнула меня с Луиджи, и я покорился божьей воле.

Не торопясь резал я деки и измерял циркулем толщины, вспоминая указания Луиджи. Но простая проверка деки на звук лишала меня уверенности, я искал чего-то более точного. Мне казалось, что деки не выдержат давления струн, и в отсутствие Луиджи я сравнивал свои деки с заготавливаемыми им для квартета и выдолбил их подобно. Будь Луиджи другим человеком, я сделал бы это открыто, но я знал, что он воспротивится этому, будучи странно ревнивым к каждой безделице, сделанной его рукой. Теперь, когда главное было готово, я почувствовал себя еще спокойнее и тщательно пригонял часть к части.

Эти полтора месяца, пока я делал свою вторую скрипку, были самыми счастливыми в моей совместной жизни с Луиджи. Казалось мне, что я вновь обрел уверенность в будущем, казалось близким время, когда я смогу зажить самостоятельно на свой собственный заработок. О, я никогда бы не стал тешить себя пустой болтовней, как это делал Луиджи, никогда не принял бы этой его заносчивости в обращении с заказчиками, и я знаю, что имел бы сбыт своим инструментам.

А что касается мечты о заказах для королевских дворов или ватиканской капеллы, то я все-таки сумел бы смотреть на нее не больше как на мечту, не превращая ее в манию величия, хотя бы мое искусство и было так же признано, как Луиджиево.

Наталина попрежнему часто разговаривала со мной, тем более, что

Луиджи был погружен в молчание, сопутствовавшее у него всегда началу работы. Ее родителям не нравились эти частые отлучки к нам, но она своевольничала, хотя и встречала во время своих посещений подчас рассеянное отношение к ней Луиджи. Я все больше проникался жалостью к ней, она мне все больше нравилась, и, по мере того, как в голове моей слагались образы будущего моего житья, все чаще я думал о жене, похожей на Наталину. В ее присутствии, однако, я робел, слишком низко ставя свою наружность по сравнению с ней. Я считал ее недостижимой.

Но однажды она сказала, внимательно посмотрев на меня и быстро усмехнувшись:

-- А ты выравниваешься, Мартино, если бы у тебя не был такой низкий лоб и оттопыренные уши, ты был бы совсем видным мужчиной.

То, что она назвала меня мужчиной, наполнило меня сладостным чувством. Я берег его в своей душе, ничем не высказываясь. Что до низкого лба и ушей, то я уже мог понимать, что не это важно в мужчине. Но работа моя шла веселее при мысли о Наталине, и скоро я кончил скрипку.

Перед тем как ставить этикетку, я спросил у Луиджи; он снова отказал мне, и я как-то совсем не пожалел об этом.

Когда я принес ему скрипку, я знал, что он постарается найти в ней кучу недостатков. Так и случилось. Но все же он не мог не отметить, что она значительно лучше первой.

-- Это я говорю о внешности, - тут же оговорился он. - Попробуем звук.

И он стал ее выстукивать, а затем, натянув струны, провел смычком. Потом он расспросил о толщинах дек, о пружине и отложил скрипку в сторону.

-- Да, - сказал он наконец, - случилось то, от чего я так предостерегал тебя. Ты с точностью повторил толщины скрипичных дек моего квартета, но при этом тебе попала верхняя дека от одного квартета, а нижняя от другого. Кроме того, ты совершенно не согласовал их ни с высотой обечаек, ни с плотностью дерева. И получилось то, что всегда получается при рабском подражании: звук спешит вдогонку за скрипом смычка и сам по себе настолько тщедушен и нищ, что, право, не знаю, может ли назваться твоя работа музыкальным инструментом. Не сердись на меня, но я считаю нужным сказать тебе кое-что, к чему меня вынуждает честность. Еще в первой твоей скрипке я не заметил ни тени свободного дара, но не хотел говорить тебе об этом, боясь ошибки. Теперь говорю уверенно: хорошо бы тебе изменить ремесло; если хочешь, я помогу тебе в этом. Мастерство требует всегда большой работы над собой, для тебя же эта работа будет

просто непосильно долга, и все же ты никогда не будешь творцом, а лишь невольником своего труда. Я не отрицаю, ты сможешь работать, и найдутся, наверно, люди, которых удовлетворят твои вымученные и заученные формы звучащих коробок. Я же никогда не смогу тебя считать своим учеником, как ни отрадно мастеру оставить продолжателя своих дум.

Хоть я и был готов к Луиджиевой враждебности, речь его глубоко уязвила и поразила, а мысль отказаться от дела, над которым я работал уже около трех с лишним лет, ужаснула меня. Я тут же стал умолять его не отказывать мне в поддержке; пусть я буду плохим мастером, пусть я никогда не достигну высоких ступеней, - я буду работать не покладая рук и хоть сумею приобрести в жизни кусок хлеба.

-- Я не гоню тебя, - сказал он мне на это. - Но я лишь предупреждаю о том, что по чести считаю нужным. И до тех пор, пока я тебе не разрешу, ты не должен кому-либо показывать свою работу.

Я понял, что выиграл время, и не настаивал на большем. Уже на многое открылись мои глаза, уже давно я дал себе отчет в причинах моей злосчастной судьбы. Мне стало ясно, что тщеславие, толкнувшее некогда Луиджи на то, чтобы взять себе ученика, скоро уступило место зависти и ревнивому чувству, которое подсказывало ему беречь про себя приемы мастерства. Он чувствовал себя одиноким среди других мастеров, людей благочестивых и богобоязненных, и, очевидно, думал когда-то, что найдет во мне податливого исполнителя всех своих тайных и злостных целей, и, прикрываясь речами о помощи сироте, он старался привить мне безбожное и греховное отношение к искусству. Потом он увидел, что, как ни был я незрел, но меня не удастся сбить с христианского пути и залучить в свой лагерь. Он понял это скоро и возненавидел меня, а я по простоте душевной не замечал этого и все еще верил в его искренность и правдивость, тогда как он делал все, чтобы не дать мне овладеть ремеслом. Теперь он уже не скрывал своего намерения освободиться от меня, и его останавливала, очевидно, только боязнь осуждения людей, которые поняли бы это как его неумение обучить подмастерье. Целей его я все еще не понимал, но уже ясно чувствовал в запутанности его речей, в недосказанных мыслях, в грубой простоте, которой он любил иной раз щеголять, скрывая истинное свое лицо, в странном значке на этикетке, во всем его отношении к жизни, как далеки и чужды эти цели верующему человеку, как близки они ереси и даже более того - к тайному учению, к службе нечистому.

Не раз пытался я исподтишка подглядеть за ним; отличное качество его инструментов при его лени было для меня загадкой. Но Луиджи был хитер: кроме той обычной работы стамеской и ножом, о которой он

слишком много распространялся, я ничего не заметил. Все же я был убежден, что он заговаривает дерево; к этой мысли меня приводили те разговоры, в которые он вступал при работе с деревом. Признаюсь, я пытался сам сделать то же, но, очевидно, я не знал тайных слов. Следующая моя скрипка вышла почему-то хуже предыдущих, так что Луиджи не снял своего запрета не выносить ее из дома.

Все же я не оставил своих подозрений: мнение Паоло, ученика Антонио Капо, о том, что мастера скрывают свои секреты, крепко засело мне в голову; оно было в особенности приложимо к Луиджи. Я решил испытать Луиджи, выбрал однажды час, когда он был в отличном расположении духа, и я мог надеяться, что мне удастся хоть что-нибудь узнать у него, так как я считаю, что в такие часы он бывал часто очень добр из хвастовства и по глупости, - я не раз видел, как он ссужал деньгами только для того, чтобы говорили, что он никому ни в чем не отказывает. Я прямо просил его открыть мне эти тайны, которые скрывают мастера. Но он, услышав мою просьбу, расхохотался, а потом, подумав, сказал:

-- Да, если хочешь, я скажу тебе, в чем тайна мастерства: работай над каждой вещью, над каждой мелочью с пылкостью любовника, с сердцем матери, которая каждого, самого хилого и недоношенного ребенка выкормит и выходит, с мудростью отца, который твердо ведет их к зрелости. Помни, что все созданное тобой имеет над тобою же непобедимую власть; так дай же ее прекрасным вещам, - они тебя переделают по-своему.

Таким образом вывернулся он из положения туманными речами. Все же я думал его тронуть, бросился на колени перед ним и стал целовать его руки. Он вырвался, страшно рассердившись. Своим гневом он хотел, очевидно, скрыть укоры совести при виде того, к чему ведет его обман. Но он лишь добавил:

-- Есть еще одно - никогда не унижать себя ни перед кем. Впрочем, это обязательно для каждого человека. Я вышвырну тебя, как щенка, если ты еще когда-нибудь позволишь себе так унизиться.

Я встал и присоединил и это к числу тех обид и зол, которые причинил мне Луиджи.

Тяжкие дни наступили для меня. Я изверился в своей работе под руководством Луиджи, душа моя была в смятении от переполнявшего ее отчаяния и одиночества, молитва не помогала мне. В этом состоянии я пришел к отцу Себастьяну и поведал ему всю горечь осаждавших меня мыслей; я рассказал ему шаг за шагом всю жизнь мою с Луиджи, всю сеть хитрости, обмана и насилия, в которую хотел меня запутать этот человек,

чтобы вовлечь на свой греховный путь. Я говорил о том, как он меня учил видеть в храме не дом молитвы и в святых иконах не образы, переданные в откровениях, а дело рук человеческих. Как он издевался над моей верующей душой, как преследовал преданность мою благочестию и как он был разгневан моим отказом от чтения еретических книг. Я вспомнил все его наставления в мастерстве, в которых никогда не проскользнуло ни единой душеполезной мысли, но вместе с тем не было и прямых точных правил в работе, а одни лишь запутанные рассуждения. Упомянул я также и о разговорах, которые он ведет за работой с колодами дерева и своими инструментами, и об этикетках с их тайным знаком, взятым, по моему разумению, из черных книг.

Я просил отца Себастьяна наставления и поддержки. Он долго слушал меня и наконец сказал:

-- Сын мой, из твоих слов я вижу, что Луиджи Руджери человек с темной и богопротивной душой. Я это подозревал и ранее. То, что ты сам понял его и не поддался его козням, доказывает крепость твою в вере. Господь бог всевидящ и стоит незримо за тобой. Не бойся же и впредь никаких козней, - при его заступничестве они бессильны. Что же касается знака, который ставит твой хозяин на своих скрипках, и литер, не похожих ни на один из христианских девизов, проставляемых в подобных случаях мастерами, то я проверю сам их расположение и начертание, для чего зайду к тебе в один из ближайших дней. Иди же с миром и впредь все замеченное тобою не забывай поведать служителю бога.

В то время отец Себастьян уже редко выходил из своей кельи, угнетаемый недугом. Однако мой рассказ живо заинтересовал его, и не прошло нескольких дней, как он, преодолевая болезнь, пришел в наш дом.

Это случилось в отсутствие Луиджи. Мы долго рассматривали Луиджиевы скрипки. Отец Себастьян был хорошим знатоком инструментов и хвалил отделку, дерево и звук, находя, впрочем, некоторые странности в работе.

-- Видно сразу, что у этого мастера неспокойна душа, - говорил он. - Какие-то губительные тревоги, какие-то невыраженные стремления в этом звуке - необычайного звука ищет он, начинания его не благословлены молитвой.

Этикетку рассматривал отец Себастьян особенно долго.

-- Нет, это не эф, - сказал он о знаке. - Это значок бесконечности, употребляемый в математике. Что же касается литер, то к ним не подберешь ни одного достойного изречения. Скажи, с каких пор стал он ставить подобные этикетки?

Я не успел ответить на этот вопрос, так как в этот миг в дверях появился Луиджи. Зловещим взглядом осматривал он отца Себастьяна, еще державшего в руках альт, осматривал снятые со стен и разложенные кругом инструменты, видимо, стараясь подобрать выражение своему гневу.

-- Что понадобилось этому попу в моем доме? - сказал он наконец, обращаясь ко мне. - Разве ты не знаешь, что я терпеть не могу шарлатанов?

-- Несчастный, - сказал тогда отец Себастьян, уронив при этой грубости альт. - Вспомни, что в этом доме, кроме твоей блудной души, есть еще существо, которое не забывает, как ты, о боге. Но я не хочу дать тебе случай отягчить свою совесть новой хулой на пастыря церкви, а потому удаляюсь... Господь с тобой, сын мой, - перекрестил он меня - блюди, как и раньше, в этом вертепе свою чистоту.

С этими словами он направился к выходу.

-- Проваливай, проваливай, - проговорил Луиджи вдогонку ему.

Не буду говорить о том, что последовало, когда мы остались одни. Я сидел ни жив, ни мертв и только старался не слушать диких проклятий, которые изрыгал Луиджи, развешивая на места свои скрипки.

-- Чтобы это было в первый и последний раз, - сказал он мне. - А теперь убирайся с глаз моих и иди скажи своему попу, что если я увижу его здесь еще раз, то постараюсь на звук определить дерево, из которого сделана его голова...

Остаток этого дня я провел у отца Себастьяна, ухаживая за ним, так как волнения, пережитые им при дерзости Луиджи, заставили его слечь в постель. Но ясность и спокойствие не оставляли отца Себастьяна, и он дал мне много советов и наставлений, чего держаться в моем положении.

-- Не вызывай в Руджери открытой вражды, - говорил он. - Тебе с ним жить, ты должен пройти ученье под руководством мастера. Сейчас смутные времена, и люди, подобные Руджери, пользуются этим для осуществления своих целей. Я не могу тебе точно сказать, в какую ересь впал этот несчастный, но уверен в его принадлежности к тайному братству, исповедующему мерзостное ученье, для которого возмездие определено в "Молоте ведьм". Наблюдай и следи. Нет смысла раздавить одну гадину из целого гнезда для того лишь, чтобы все остальные расплозились. Но будь готов и к тому, чтобы нанести сокрушительный удар во имя божие. Итак, будь мудр, как змий, и кроток, как агнец. Обо всем новом не преминь осведомить меня, и знай, что, быть может, господь избрал тебя для защиты святой своей церкви и наказания отступников.

-- Хватит ли сил моих, - прошептал я, взволнованный и пораженный сознанием важности моего долга.

-- Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas! - торжественно ответил отец Себастьян, напутствуя меня благословением.

Теперь я вижу, что ничего лучше я не мог бы придумать в то время, как прибегнуть к мудрости отца Себастьяна. Разговор с ним был для меня откровением, дал мне неизгладимую уверенность в моей правоте. "Если не хватит сил, то похвально даже намеренье", - повторял я его напутствие и пребывал в состоянии подъема сил, никогда мною не испытанного.

Следуя его совету, я старался ничем не вызывать раздражения Луиджи, который, против моего ожидания, ни разу с тех пор не вспомнил об отце Себастьяне. Он был погружен теперь в работу по завершению своих квартетов и, казалось, забыл о ссоре своей с отцом Себастьяном. Я по целым дням рисовал, играл на скрипке и резал по дереву - работа, которую Луиджи считал весьма нужной для мастера. Я старался также ему угодить, помогая его работе, и он принимал мою помощь доброжелательно. Одно время мне показалось даже, что он стыдится меня и при моем появлении отводит в сторону глаза.

Наконец Луиджи закончил квартеты и устроил по этому случаю пирушку. Пришли мастера: Лоренцо Сториони, Карло Бергонци и Антонио Капо. Хотя все сильно выпили, но разговор был исключительно о скрипках. У меня в голове тоже шумело, однако я хорошо запомнил все подробности разговора, так подтвердившего мое мнение о нраве Луиджи.

Первым тогда поднял стакан Лоренцо Сториони, - он был большим другом Луиджи, - и сказал, поздравляя:

-- Пью за то, чтобы никогда не ослабла твоя рука в работе. За то, чтобы тебе сопутствовал успех. Замечательно вырезал ты головку у этой скрипки. Ничего не знаю лучше, чем когда в готовом инструменте остался след порыва, с которым ты впервые сел за работу. И не нужно его сглаживать впоследствии...

-- Мы знаем, - сказал на это Карло Бергонци, - мы знаем, что ты даже нарочно придаешь скрипкам небрежный вид, делая разные эфы. Не слушай его, Луиджи. Форма выше всего. Что толку, если после всей твоей трудной работы всякий молокосос подойдет и скажет: "А левый-то эф выше и кривит". Тогда, может быть, и лакировать не нужно?

Они всегда спорили и враждовали - Лоренцо Сториони и Карло Бергонци.

-- Лак нужен, - ответил Сториони. - Но не для того, чтобы зализывать каждую мелочь, а чтобы дать глазу заранее почувствовать содержание звука. А у тебя - что ни скрипка, то повторение старого. Так ты никогда не выбьешься из подражания Страдивари, а лучше его тоже никогда не

сделаешь.

-- Антонио Страдивари величайший мастер и человек, - упрямо сказал Бергонци. - А ты вот взял за образец проходимца Гварнери, - недаром он попал в тюрьму. Небрежность в работе от беспутной жизни.

-- Нужно браться за работу, - проговорил Антонио Капо, - с молитвой, с именем божьим на устах. Нужно, чтоб весь твой замысел был освящен, проникнут и согрет религией.

Хорошее слово сказал Антонио Капо.

-- Гварнери был добрый христианин, - промолвил Сториони. - Он был добрый христианин и страдалец в жизни. Но сохранил мужество и до конца являл величие своего духа.

-- Он боролся с дьяволом, - отвечал Капо. - И когда дьявол одолевал, вся работа никуда не годилась.

Вот тут-то и проговорился Луиджи.

-- При чем тут дьявол или бог, - сказал он. - Бери скрипку, как она есть, и суди о ней. А творил ли мастер за работой молитву или он жевал при этом оливку, - не все ли тебе равно? Ты играешь на скрипке, а не на мастере. Был ли он безбожником или точил слезы о страстях Христовых, - какое тебе дело? Лишь бы скрипка звучала.

-- Ну, этак ты будешь отрицать всякое значение мастера, - возразил Сториони. - Так можно договориться до того, что пусть лучше скрипку делает плотник.

-- Пусть делает плотник, - согласился Луиджи. - Пусть делает богохульник, убийца, кровосмеситель, монах, шинкарь или погонщик ослов, - что мне до этого? Другое дело - сможет ли он сделать хорошую скрипку.

-- Да, вот сможет ли, - вмешался Карло Бергонци. - Если руки его приспособлены больше к лопате, вилам или молотку, то сомневаюсь, чтоб он имел успех в скрипичном деле. Скорее, думаю, выйдет у него гроб или сундук.

-- Если руки его способны к лопате, зачем он возьмется за скрипку? - спросил Луиджи.

-- Не говори, - ответил Сториони. - Искусство - болезнь. Кто хоть раз, хоть по ошибке прикоснулся к нему - порченый человек. Я знавал не мало таких неудачников, которым лучше бы близко не подходить к скрипке, но они упорно бьются над мастерством.

-- Пожалуй, ты прав отчасти, - заметил Луиджи и посмотрел на меня долгим взглядом.

-- Потому-то, - продолжал Сториони, - потому-то, может быть,

мастерство пришло теперь в такой упадок, что им занимается всякий, кто только хочет.

-- Правда твоя, - подхватил Бергонци, - у теперешней молодежи ни выучки, ни знания, ни дара. Лаков не знают, резьба грубая. Теперь скрипки во Франции стали делать сотнями и, как слышал я, один делает усы, другой обручики, третий деки, четвертый шейку, а пятый собирает. Можно ли так получить что-нибудь хорошее?

-- Молодежь забывает бога, - заключил Антонио Капо. - Это из Франции к нам идет безбожие. Ты вот Луиджи сказал об оливке, - все равно, мол, оливка или молитва. Считаю, что ты не подумал или у тебя в голове слишком шумит, а то бы ты не сказал.

-- Напрасно, - возразил тот, - я знаю, что говорю.

В самом деле, присмотревшись к нему, я увидел, что он не пьян. Да, зная Луиджи, никогда нельзя было бы поверить, что ему в хмелю отказала голова, но на язык он делался резче.

-- Друзья, - сказал Сториони, меняя разговор, - скажите-ка лучше, чем виноват мастер, что его работы не понимают и не ценят. Я слышал, и всем нам известно, будто немцы выше всего ставят своих тирольцев. Мы с вами режем дерево на звуки, и только мы знаем, сколь близки эти звуки к голосам наших певцов и хорошо ли у нас поют. Сколь близки они к песням наших жен и сестер... К голосу Наталины, не так ли, друг Луиджи? - и Сториони хлопнул его по плечу. - Когда же ваша свадьба?..

Из всех мастеров больше всего уважал Луиджи Лоренцо Сториони и охотнее всего сносил его шутки.

-- Ты думаешь, - отвечал он, - что раз квартеты готовы, то, значит, близко? Верь мне, что без вас свадьбы не справлю, и уж она недалеко. А пока давайте проверим ухом, на какие звуки разрезал я дерево, купленное у нашего общего друга, плута Гвидо. Сумел ли я хоть отчасти перелить его твердость в милое мне золото голоса Наталины. Я сердечно люблю ее, - прибавил он.

-- Ну, быть по-твоему, - сказал Сториони, - люби себе на здоровье и начнем с квартета Гайдна.

Я помню, что Сториони вечно носился с чужим; Луиджи, конечно, поддержал его. Антонио Капо предложил бы что-нибудь иное, более знакомое мне, из итальянских музыкантов, но слово было сказано - и сыграли Гайдна.

Когда кончили, Бергонци постучал смычком по деке виолончели - он вел виолончель - и сказал:

-- Вот видишь ли, бьюсь об заклад, что Гвидо уверял тебя, будто клен

этот с Кроатских гор. А я скажу, что купил он его по дешевке в Венеции, а туда привезли его турки. Помятуя прежние войны с Венецией, они продают туда по старой вражде самое волнистое дерево, чтобы сделанные из него весла ломались.

Но мы, мастера, умеем и войну приспособить и употребить с пользой для заветного искусства.

-- Да здравствует же венецианский продажный сенат, - воскликнул Луиджи, - который закупает на весла дерево, годное для наших скрипок!

Он поднял свой стакан и осушил его.

-- Ты дурно шутишь, - сказал Капо, не выпив своего. - Сейчас, когда наша округа занята одним врагом, а другой враг грозит Милану, нельзя так проговариваться. Ты не любишь родины.

-- Друг Капо, - отвечал Луиджи, - я люблю ее не меньше, чем ты, но если страна управляется тупыми прелатами, знать и *populo grasso* бьют по щекам своих слуг, а сенаторы заняты куртизанками и наполнением своего кармана, - так по мне лучше, чтобы кто-нибудь нас проучил как следует.

-- Чему хорошему могут научить еретики? Не скажешь ли ты, что эти полчища французов, казнивших своего короля и творящих у себя смуту на удивление всему миру, отказавшихся от бога и проповедующих вместо него идолопоклонство разуму, - что они могут чему-то нас научить?

-- Да, да, - пробормотал Луиджи.

-- Может быть, ты даже будешь рад их приходу?

-- От всего сердца, - отвечал Луиджи.

Тогда Капо, будучи не в силах сдержать возмущения, вскочил, схватил свою шапку и, не прощаясь, направился к выходу, проговорив:

-- Я знавал твоих родителей, Луиджи, я помню тебя грудным младенцем, и никогда я не думал, что ты станешь изменником родины и врагом алтаря. Нога моя у тебя больше не будет.

Но в это время вмешался Сториони. Он был сильный и тяжелый; Капо в сравнении с ним казался высохшим, и ему поневоле пришлось сесть под давлением крепкой руки Лоренцо Сториони, который говорил:

-- Ты же видишь, что Луиджи пьян. Можно ли судить за каждое слово человека, который плохо стоит на ногах. Не забудь, что ты сам мастер и брат Луиджи по ремеслу. Ты сам, должно быть, мало выпил, оттого и не в духе. Луиджи, придержи свой язык, и чокнись с добряком Антонио.

Я считаю, что Луиджи одумался, вспомнив, что в Кремоне были имперские войска. Он знал, что имперцы добрые католики, и вольные речи его, а тем более упоминание о французах, могли бы послужить причиной предания суду. Поэтому, наверное, он спохватился и, подойдя к Капо с

полным стаканом, сказал:

-- Верно, друг Антонио. Ведь ты же мой гость. Прости мне, если я чем обидел тебя.

Бергонци также принялся их мирить, и под общим натиском Капо не оставалось ничего другого, как протянуть Луиджи руку.

Я видел, с каким трудом ему это далось, какое насилие над собой пришлось сделать его честной и прямой душе.

Так состоялось примирение, но веселье и простота речей были нарушены. Капо скоро ушел, вслед за ним ушел Бергонци. Один Лоренцо Сториони остался с Луиджи бражничать, и они долго разговаривали, ни разу не вспомнив о происшедшем. Уж слишком податлив был Лоренцо Сториони, слишком любил вести с Луиджи разговоры об общем ремесле, и Луиджи хитро пользовался этой слабостью Сториони, чтобы привлечь его дружбу.

Все случившееся не было для меня неожиданностью, а только лишним подтверждением моих мыслей о Луиджи. Памятуя наставление отца Себастьяна, я пришел к нему на следующий день вечером поделиться с ним новостями, и уже дорогой пожалел, что не выбрался сделать это с утра, так как заметил на улицах оживление, наполнившее меня тяжелым предчувствием. Отец Себастьян слушал меня, кивая головой и как бы встречая в моих словах подтверждение своим суждениям.

-- Сын мой, - сказал он мне. - Отступник срывает маску с своего лица, думая, что уже прошло время притворства. Но он поторопился. Следует наказать преступника, пока не поздно. Не медля ступай к австрийскому коменданту и передай все, о чем мне только что рассказал, присовокупив от моего имени, что я считаю Руджери не только французским лазутчиком, но и представлю доказательство его разрушительной работы по подрыву церковной власти, лишь только болезнь позволит мне встать. Помни, сын мой, что, как мне известно, враг ближе, чем ты думаешь, и от твоей быстроты будет зависеть это христианское дело. Иди же с богом.

Приняв, как обычно, его благословение, я бросился в цитадель, но за поздним временем не застал коменданта. Солдаты и офицеры, к которым я обращался, обещали мне разобраться с моим делом на следующее утро, и моя настойчивость кончилась тем, что меня прогнали.

Но я и сам видел, что им недосуг: во дворе цитадели было множество солдат, егерей и улан, происходила какая-то суета и сборы. Я решил добиться коменданта с утра и с этим ушел.

Дома меня вновь поразило поведение Луиджи. Черная совесть его сохранила ему спокойствие в эти часы, когда враг уже стоял у ворот и по

всему городу ходили сильные патрули. Он беспечно наигрывал Наталине веселые песенки, а потом, бросив скрипку, стал вертеться с ней по комнате, смешивая ее своими выкриками.

На следующее утро я опять не сумел добиться коменданта. Его денщики сказали мне, что он вышел из дома еще на рассвете, а в цитадель меня не пропустили. В нерешимости я бродил возле казарм и наблюдал, как одна за другой части, стоявшие в городе, спешно покидали Кремону. По улицам уже проезжали повозки походных лазаретов, тянулись обозы с войсковой кладью. Я шел им навстречу, стараясь прочесть в их лицах тайну происходивших событий, и незаметно для себя вышел к городскому валу у дороги из Пиччигетоне, оттуда двигалась большая колонна пехоты.

Здесь собралась многочисленная толпа жителей, передававшая из уст в уста толки о сражении под Лоди. Говорили о большом числе раненых и о том, что французам удалось занять этот город.

Между тем со стороны Пиччигетоне вслед за пехотой показалась кавалерия. Под блеском полдневного солнца было трудно решить, чьи это войска, так как вдали, среди зелени полей и низких виноградников, можно было различить лишь слитное сверкание оружия. Быстрое движение конницы внесло беспокойство в толпу зрителей, но я все же превозмог его в себе и остался на валу. Мое упорство дало мне возможность убедиться, что это австрийцы, и сколь ни поспешно двигались войска, они не теряли в движении ни стройности, ни порядка. Я насчитал, кроме двух полков прошедшей пехоты, несколько пушек, эскадрон драгун, целый уланский полк и еще несколько отрядов гусар и волонтеров. Это меня глубоко обрадовало. С такой армией Кремона могла спокойно ждать неприятеля, окруженная своим рвом и бастионами.

Часть улан осталась на подступах к городу, и из этого я понял, что дальше уже следуют вражеские войска. С замиранием в сердце я остался на месте, решив быть свидетелем этого первого виденного мною сражения.

Не долго мне пришлось ждать. Вскоре вдали на гребнях холмов показались отдельные всадники, похожие издали на маленьких букашек. В австрийских войсках слышались команды и, как только на дороге появилась голова неприятельской колонны, красавцы-уланы, обнажив свои сабли, поскакали навстречу в атаку.

Вдали, там, где сшиблись они, поднялся густой столб пыли. Несколько одиноких слабых выстрелов донеслось до моего слуха. Некоторое время я еще ждал, но затем, не имея возможности ничего различить вдалеке и заметив по солнцу, что время уже за полдень, я решил вернуться домой, будучи уверен в поражении французов. Как можно было подумывать, что они

выдержат удар блестящей австрийской конницы?

Но едва я спустился с вала, как меня уже обогнали первые всадники, скакавшие в галоп от ворот в город. На этот раз вид их и беспорядочная скачка сразу подсказали мне недоброе, и я мигом очутился снова на валу. С высоты его мне прекрасно было видно, как уланы, повернув вспять, погоняли своих коней и как отступление мало-по-малу превращалось в беспорядочное бегство. Сытые кони их оставили неприятеля далеко позади. В последних рядах я видел уже раненых и несколько пленных французов.

"Теперь ворота захлопнутся", - подумал я, но, к ужасу моему, уланы, не задерживаясь, пронеслись в город. Оторопелый, я остался в толпе зевак на валу и видел, как некоторое время спустя три всадника, покрытые пылью, с пламенеющими от зноя, как у демонов, лицами, на полном скаку ворвались в город.

Это уже были французы. Вслед им в облаке пыли двигалась конная колонна.

Не ожидая дальнейшего, я опрометью бросился в город. Он был пуст, австрийцы покинули его без боя. Кратчайшими переулками я подоспел к тому позорному мигу, когда на площади перед домом коменданта городские власти вынесли навстречу ворвавшемуся первым французскому офицеру на блюде, покрытом парчевой, с золотой бахромой, скатертью, ключи от городских ворот и угощение.

Подобострастный вид, с которым, обращаясь к офицеру, произнес короткую речь на французском языке представитель властей, позволил мне понять содержащуюся в ней лесть. Офицер слушал, ухмыляясь, и затем воскликнул, обращаясь к собравшейся толпе, с плохим итальянским выговором:

-- Граждане Кремоны! Французская армия разбила ваши оковы. Французский народ - друг всех народов! Выйдите встретить его!..

После этого он выпил залпом стакан вина и принялся, чавкая, закусывать, в то время как толпа кричала приветствия, смотря ему в рот. До сих пор помню имя этого висельника: то был лейтенант Девернуа...

Вслед за ним подоспела конница и генералы, которым офицер в свою очередь передал полученные городские ключи и представил власти. Часть конницы бросилась дальше в погоню за австрийцами, отступившими на Боччоло, а остальные, вместе с подошедшей наконец пехотой, все больше наполняли улицы.

Они выступили до рассвета из Кремы, по дороге взяли Пиччигетоне и теперь изнемогали от усталости. Но никакой усталостью не могу я

объяснить то, что вскоре произошло: короткая команда прозвучала в конных частях, - как мне потом сказали, это была команда: "По конюшням", - и я увидел, как, разбившись на отряды, кавалерия направилась к храмам. Частью спешившись, а частью не слезая с седла, всадники въезжали на паперти и вводили своих лошадей прямо в храм...

Теперь мы уже притерпелись, нас трудно удивить этим рассказом о невероятном святотатстве французов, - тогда я стоял в онеменье, ожидая, что небесный гром грянет и испепелит безумцев. Но велико долготерпенье господ!..

Я видел, как соборный викарий с дарами в руках вышел преградить путь разбойникам, - они с грубым хохотом оттолкнули его и ворвались внутрь храма... Присутствовавшие здесь женщины, преклонившие колена перед святыми дарами, при виде этого богохульства, заплакали навзрыд. Полный скорби и ужаса, я побрел домой, натываясь повсюду на отдельные банды французов, расходившиеся по городу.

Так состоялось столь памятное мне взятие Кремоны французской республиканской армией.

Мы все хорошо помним, что это было за войско. Лишь теперь они немного приоделись, обворовав наши страны, а тогда вид их был настолько жалок, что с трудом можно было понять, какая сила удерживает их от окончательного развала. Грязные, оборванные, кто в мундире, не закрывающем живота, кто в плаще, кто в шинели, кто в сутане, уже украденной по дороге, они врываются в города, как полчища разбойников. Голод гнал их на новые места, но, придя, они тотчас возвещали всем, что несут с собой свободу и всеобщее равенство. По сравнению с австрийскими войсками это были толпы бродяг. И кто же мог поверить, что они дадут что-либо, кроме насилия и грабежа?

Так и было. Я видел крестьян, которых гнали от самого Турина, заставляя везти войсковое имущество - мулы их падали от голода и усталости. Я видел, как санкюлоты грабили церкви и делили церковный бархат себе на штаны, а сатин на куртки. Я наблюдал, как глумились они над верой и всем, что принадлежит церкви. Они не знали уважения ни к сану, ни к преклонному возрасту, даже собственные офицеры их шли в общих рядах, неся на плечах свою поклажу, и только шестидесятилетним из них давали лошадь... И все это среди треска речей о свободе, возглашавшихся одурелыми или злобными злодеями, с зеленым шарфом вокруг шеи, в дурацком колпаке, двигавшимися вслед за армией. И все это среди тысяч расклеенных по улицам города листов, где сыпались проклятия на головы всем, кого господь бог отяготил властью и богатством.

О, как прав был отец Себастьян, предостерегая меня некогда от французских веяний!..

Но всего ужасней и всего прискорбней было видеть, как вслед этой своре пришельцев бросились наши предатели помогать им в деле разрушения обычаев веры, кто - руководимый преступным легкомыслием и ложным направлением ума, кто - заискивая перед новым хозяином. С каким усердием глумились они над духовенством, как поспешно создавали все эти новые выборные управления, как громко орали "эввива" проходящим по улицам санкюлотам, как коварно натравливали их на богатых граждан, обрекая грабежу соседа и оберегая свой достаток. Больно было на это смотреть, и много еще и теперь нужно огня и железа, чтобы вытравить все эти плевелы, посеянные злодейской рукой.

Луиджи был в их числе, и я этому не удивился. Его почти годовая работа пропала даром, так как квартетов не взяли, но он остался как будто равнодушным к этому, несмотря на то, что это еще раз оттягивало его женитьбу. Он бегал теперь по городу, по вечерам сидел в кафе, завел себе новый круг приятелей, известных крикунов, и беседы их все время вертелись вокруг событий дня и новых законов, вводимых генералом Бонапартом. Нет, Луиджи не горевал: он не погнушался перенять новую моду, принесенную французами, - красные каблуки и пышный галстук. Работа была заброшена, забыта, забыл он, казалось, еще больше и обо мне, почти не разговаривая со мной, вечно спеша уйти из дома. Даже Наталину он пытался увлечь за собой в свою теперешнюю жизнь, и только властное слово отца заставило ее одуматься.

Зато я тем более отдался работе, и в этот год моего особенного одиночества и отверженности в оскверненной жизни, я сделал больше, чем когда-либо, в мастерстве, так что даже Луиджи не мог не заметить моих успехов, хоть и старался сделать это с обидным для меня намеком или прямым упоминанием о моей неспособности.

Увы, этот год был в то же время последним в здешней жизни для моего духовного наставника, отца Себастьяна, - он так и не встал с постели, и я, оплакивая его кончину, еще раз поклялся выполнить его заветы, споспешествуя делу доминиканцев-инквизиторов, ныне так тяжело гонимых.

Моя утрата была невознаградима. Отец Себастьян заменял мне сверстников, с которыми я никогда не мог сойтись, отца и мать, утраченных мной, утешая меня в горе, укрепляя в сомнениях. Но, видя всеобщее растление, к которому пришло человечество, - посрамление нравов, осквернение храмов, попрание веры, - я не мог не порадоваться за него - не

долго страдал он в этом Содоме.

Я же остался в этой жизни один, бок о бок с злейшим врагом церкви, - и через это моим, - во времена, когда всякое благочестие встречалось гонениями и насмешкой. Но мне уже исполнилось, благодаря бога, в ту пору восемнадцать лет, и я чувствовал, как росли во мне силы для подвига, указанного мне отцом Себастьяном.

Памятуя все же, что и разбойник, распятый вместе с господом нашим, раскаялся на кресте, я спросил однажды Луиджи:

-- Помнишь ли, как ты хулил в споре с Антонио Капо австрийских офицеров, говоря о насилиях, творимых ими? Из этого я понимаю, что ты осуждаешь вообще всякое насилие. Как же ты смотришь теперь на все поборы и грабежи, производимые французами? И почему же ты радуешься их приходу?

Я видел, в какое затруднительное положение поставил я Луиджи своим вопросом. Но он не промолчал:

-- Я говорил о насилиях над отдельными людьми, над женщинами... О порках, которым подвергали австрийцы всех без разбору и без вины, по произволу; говорил о взятках... А теперь, если французы щиплют наших богачей и попов, грабивших народ, то это пойдет на великое дело освобождения народов, за которое они борются. Что это тебе пришло в голову?

-- А разве не творят они насилий над духовенством? - возразил я. - А разве картины и статуи, которые они вывозят из наших городов, послужат им в борьбе как оружие против угнетателей?

Лицо Луиджи омрачилось, но он все же упорствовал:

-- Духовенство веками угнетало народ, - отвечал он, - не беда, если в лице его пособьют спеси со всех, кто держит мир в темноте и рабстве.

Больше он ничего не нашелся сказать, но по его виду я понял, что слова мои бесполезны. Да и какое раскаянье, не очищенное, не освященное страданием во имя божье, могло бы его спасти?

Я видел, что попытки мои излишни, и еще раз подивился своему простодушию, вспомнив, что хоть и многое в Луиджи стало для меня ясным, но многое и осталось необъяснимым. Это необъяснимое я мог угадывать только по временам, и когда приоткрывалась завеса над этой стороной его существа, то я чувствовал близость нездешней мерзости. Не радовался ли он сатанинской радостью при виде гибельных разрушений, вносимых французским штыком и еще больше глашатаями безбожия?

Еще одно существо владело моими тогдашними помыслами - прекрасная Наталина, судьба которой была связана с именем Луиджи.

Мысль мою постоянно смущало воспоминание о ее небесной улыбке, о беспечности, с которой она, ничего не подозревая, доверяла свою жизнь неблагодарному, порочному человеку. Луиджи ждал ад, - но чем же была виновата она, чистая и не ведавшая зла? Чем дальше я отходил от Луиджи, тем больше хотелось мне предостеречь Наталину, раскрыв ей глаза, пока не поздно. Я думал о том, как это поразит ее, я мечтал о том, чтобы она, почувствовав во мне защитника, прибегла бы к моему покровительству, спасая свою душу, достойную вечного блаженства.

Да, каюсь, Наталина, хорошевшая день ото дня, была женщиной, пробудившей во мне впервые чувство. И каково же было мне видеть ее и ежечасно вспоминать, что она предназначена другому!

Когда она садилась в мастерской на низенький чурбанчик и, заглядывая в глаза Луиджи, шалила, бросала в него стружками дерева или бралась за скрипку и подражала, дурачась, игре Луиджи, а он только рассеянно улыбался, - мне делалось невыносимо тяжело и грустно...

Но нет, было бы неверно считать, что мое отношение к Луиджи зависело от моих чувств к Наталине.

Теперь, после многих лет раздумий, проверяя умом все мои поступки и заблуждения, я вижу хорошо, что я не забывал никогда о добре, оказанном мне Луиджи. Все же я прожил эти годы у него в достатке. Однако столько зла попутно принес мне этот человек, что все его добро не может искупить и сотой доли вреда, причиненного мне.

Но тогда я был свободен добиваться своего счастья, подвиг мой еще не стоял передо мной во всей своей трудности, и я еще не обрек себя ни одиночеству, ни суровой доле воина армии веры. Я выбрал час, когда Наталина шла со своей корзиной на рынок и, встретив ее, сказал:

-- Наталина, я уже не мальчик. Поверишь ли ты мне и хочешь ли ты себе вечного блаженства?

Я неудачно начал, - я вижу это теперь, - но тогда смех ее больно поразил меня.

-- О чем ты говоришь, - возразила она, - как будто ты проповедник. Разве Луиджи учит тебя и этому ремеслу?

-- Не смейся, - отвечал я. - Если до сих пор я молчал, то разве ты не видела, что я люблю тебя и готов на все, чтобы ты стала моей женой?

Не знаю, откуда пришел ко мне дар речи - я стоял и говорил ей о том, что скоро смогу зарабатывать, что я не буду, подобно Луиджи, пренебрегать черной работой, что я перечиню все скрипки от Венеции до Лукки и сколочу нужные для свадьбы деньги, если она даст мне два года сроку.

Видя, что она стала внимательной и задумчивой, а глаза ее блестят, я

перешел наконец к тому, что меня больше всего волновало, - к Луиджи, - и чем дольше я говорил, тем задумчивей и строже становились глаза Наталины. Мы ушли незаметно к городскому валу. Не боясь быть услышанным, я коснулся всего, что было темного в жизни Луиджи, я заклинал ее именем божьим забыть этого человека и дать мне согласие.

-- Я не знала, что ты так умеешь говорить, - сказала она, когда я кончил. - Я хотела сначала обещать тебе, что когда я выйду за Луиджи, то возьму тебя в чичисбеи, если ты не вообразишь никаких глупостей. Но теперь, когда я выслушала все, я тебе отвечу по-другому. Все, что ты рассказал, доказывает лишь твою бесконечную завистливость и лицемерие. Не напрасно Луиджи считает тебя себялюбивой бездарной тупицей. Но даже и он не знает всей меры твоего самообольщения, ханжества и твоей подлой души, которая переносит все свои гнусные недостатки на других и видит в человеке, которому ты недостойн целовать обувь, лишь зеркало своего собственного уродства... Несчастен день, когда Луиджи приютил тебя. Я сделаю все, что смогу, и если только он меня послушает, то выгонит тебя палкой из своего дома... Пошел прочь!..

И бросив мне все эти оскорбления, она быстро отошла от меня.

Заносчивая девчонка, она не понимала, конечно, как сумел ее приворожить Луиджи, и слепо верила ему. Но я любил ее, и теперь, перед лицом воспоминаний, я не хочу кривить душой и скрыть ужасную тоску, обуявшую меня. Да, мое отчаяние было безысходно: рушилась последняя надежда, улыбавшаяся мне дотоле. О, Луиджи умел оградить себя со всех сторон!

Но тем строже и явственнее чувствовал я теперь свой долг. Мечты рассеялись и вместе с тем приблизилась опасность. Я был слишком откровенен с Наталиной, я видел, с какой злобой смотрела она на меня, с какой ослепленной преданностью защищала Луиджи. Я понял, что она выполнит свою угрозу без колебаний, что сам Луиджи, пожалуй, в этот час не мог бы быть ко мне столь безжалостным, как она.

Но и на его жалость трудно было рассчитывать. Он едва терпел меня в последнее время. Не только прогнать, он мог со мной сделать теперь все, что угодно, будучи близок к новой власти.

В ужасном беспокойстве провел я день до самого вечера, бродя по улицам и боясь вернуться домой. Но когда я наконец вернулся, то понял, что Луиджи еще не приходил с утра - его обед остался нетронутым, - он был сыт, очевидно, разговорами со своими французами.

Я забился в свою постель, но не мог заснуть и слышал, как вернулся Луиджи, как он зажег свет и принялся что-то перелистывать, как постучала

в окошко Наталина и, торопливо переговорив с ним у двери, опять ушла. До меня только долетели слова, из которых я мог понять, что она на два дня уходит из города вместе с родителями в виноградник, принадлежавший им, для сбора урожая.

Я счел себя на время спасенным, и когда Луиджи вернулся, то я пошевелился и приоткрыл веки.

-- Мартино, - сказал он вдруг, - как ты смел поднять на Наталину глаза?

Тогда я счел за лучшее опять зажмуриться и притвориться спящим. Луиджи не стал повторять вопроса, а только пробормотал:

-- Щенок!..

Итак, я понял, что Наталина, по своему женскому тщеславию, успела рассказать только о моем признании, но можно было быть уверенным, что за этим последует и все остальное, лишь только у нее будет для этого время.

Я просил у Наталины два года, а получил два дня. В этот срок надлежало о себе позаботиться.

На следующее утро я рано ушел из дому, и смутные чувства, обуревавшие меня, направили мои шаги туда, где я привык искать утешение. Я вошел в собор, еще пустынный и безмолвный и, опустившись на колени, долго молился перед святым распятием. В благоговейной тишине слышались только мягкие шаги прелата, облачавшегося к мессе; дым каминов, клубясь среди алтарных свеч, терялся в сумраке и, лишь поднявшись кверху и попав в лучи солнца, пробивавшиеся сквозь окна куполов, розовел и оживал, вознося мои тревоги и молитвы к престолу всевышнего. В этот миг я почувствовал, как в сердце мое нисходят покой и уверенность; я понял, что увижу сейчас просветленной душой все пути жизни; я знал, что обрету праведный путь.

-- *Vol dicere missam!* - провозгласил прелат, и я затрепетал от ожидания. Заиграл орган, мощные звуки подхватили меня. Все мои сомнения рассеивались как слабый сон, я крепнул и рос, освобождаясь от осаждавших меня наваждений. Вдруг нестерпимый свет пролился мне в душу. Я разом понял все: я понял, что напрасно колеблюсь, слушаю искусителя, нашептывающего мне, что нет служения богу угоднее, чем высокое мастерство; понял, что если буду малодушен, я предамся во власть темных сил. Нет, не зависть, не корысть руководили мной, когда я думал о том, что лучше бы Луиджи Руджери не появляться на свет. Я это знал теперь. Мужество пришло ко мне как божья воля. Я решился. И когда, обернувшись к молящимся, прелат возгласил: "*Dominus vobiscum!*" и благословил всех, я принял это благословение как напутствие, встал и

вышел из собора.

Весь день я чувствовал себя взволнованным. Мое торжественное настроение не укрылось от Луиджи, и он спросил:

-- Тебя облатками покормили?

Я сдержался и ничего не ответил. О Наталине он не вспомнил, но разве можно поверить, что он об этом не думал?

Вечером, как я знал, к Луиджи должен был прийти сплавщик леса Гвидо, доставлявший ему дерево. Я выждал, когда Гвидо собрался уже уходить, и стал отпрашиваться у Луиджи к Паоло, ученику Антонио Капо.

-- Куда ты пойдешь так поздно? Капо тебя выгонит, - сказал Луиджи.

Но я знал, что он не откажет, и продолжал настаивать. В конце концов Луиджи, действительно отпустил меня.

Выйдя из дома, я тотчас же спрятался за углом, ожидая, когда Гвидо уйдет. Когда шаги его смолкли, я выждал еще некоторое время и, обмотав голову платком, вернулся домой, слегка пошатываясь.

-- Что с тобой? - встретил меня Луиджи, но я застонал, лег на постель и закрыл глаза.

-- Что с твоей головой? - продолжал допытываться Луиджи.

-- Меня кто-то ударил, - отвечал я, как бы пересиливая боль.

Луиджи снял повязку с моей головы, я дал ему прощупать под волосами набитую накануне шишку и рассказал ему, что около рва наткнулся в темноте на лежавших бродяг, один из которых ударил меня по голове палкой. Как я и ожидал, Луиджи страшно вспыхнул:

-- И ты бежал, как баба? Хорош жених!

-- Их было двое, - пробормотал я.

-- Мы их сейчас проучим, - возразил Луиджи. - Вставай! Не хватало еще с такими пустяками валяться. Веди туда, где ты их встретил.

Он взял свой кинжал, и мы двинулись в совершенной темноте.

Мог ли я думать, что хитрость моя так легко удастся мне. Луиджи сам шел мне навстречу в своей жажде унижить меня перед Наталиной и выказать свою храбрость рядом с моей трусостью. Я хорошо понял его насмешку.

Я вел к знакомому мне месту, где около рва для стока нечистот была сложена наполовину осыпавшаяся кладка камней, заготовленных для постройки. Когда далеко в дали забрезжил свет караульной у Порта Моза Ступпа, я схватил Луиджи за руку и прошептал:

-- Осторожнее, мне кажется, они еще тут.

Мы стали подвигаться очень медленно, стараясь обнаружить мнимых бродяг, прежде чем они обнаружат нас.

-- Вот они, - сказал я, указывая в темноте. Тропинка здесь делала поворот между кучей камней и неосыпанной еще кладкой.

Луиджи некоторое время вглядывался вперед, а я тем временем взял в руки большой, заранее приготовленный камень. Но Луиджи надоело медлить, он громко окликнул пустоту и высек огнивом искры.

Нужно было решаться. Ни раньше, ни позже. Я проскользнул неслышно вперед; Луиджи, не замечая этого, окликнул еще раз и сделал шаг, высекая огонь. Тогда я изловчился и вслед за тем, когда сноп искр озарил его лицо, бросил камень. Удар, видимо, пришелся хорошо и был силен. Луиджи упал как подкошенный.

Ни бодрость, ни ясность духа не оставляли меня. Я быстро удалился от этого места, где суждено было Луиджи принять земное возмездие. Дом Антонио Капо был еще не заперт, я вызвал Паоло, и мы мирно разговаривали некоторое время у крыльца о своих делах. Паоло мечтал о том, как он сдаст работу на звание подмастерья, я ему поддакивал. Наконец вышел Капо и сказал:

-- Ну, довольно полуночничать, отправляйся-ка восвояси. Передай привет Луиджи. Что он делает?

-- Он, кажется, собирался уйти, - отвечал я.

-- К Наталине? - спросил Капо.

-- Должно быть, - сказал я. - Но он не говорил, куда.

Я попрощался и медленно отправился домой. Здесь я, не зажигая огня, лег спать, уверенный, что ночная стража не наткнется в своем обходе до утра на тело Луиджи, лежащее среди камней, вдалеке от дороги.

Я спал спокойно. Просыпаясь среди ночи, я вспоминал происшедшее, как далекое прошлое, с чувством глубокого удовлетворения. Под утро меня разбудили сильные удары и грубые голоса за дверью. Я понял, что тело Луиджи найдено, зажег огонь и открыл запоры твердой рукой - я знал, что буду говорить.

Несколько человек, громко топоча ногами, внесли тело, накрытое солдатским плащом.

-- Пресвятая мать, - вскричал я, - что с ним?

-- Долго же ты отворяешь, - возразил мне один из вошедших, в котором я узнал лекаря, жившего неподалеку. - Мы уже хотели ломать двери.

Они уложили Луиджи на постель, и мне больше не нужно было притворяться напуганным - так ужасен был его вид. Все платье было в пыли и крови, - видно было, что он долго полз по собственным кровавым следам. Лицо было залито кровью, сочащейся из разбитой переносицы.

Острый край камня проломил ее до основания. Глаза - о! что было вместо глаз, трудно себе представить. Сильный удар заставил их выскочить из глазниц и разбиться. Луиджи полз и кровавыми лоскутами, висевшими на связках и жилах, мел дорожную пыль...

Но самое страшное, от чего у меня занялось дыхание, было не то. Луиджи был жив. Слабыми, но непрерывными движениями шевелились его пальцы, - он беспрерывно глотал кровь, заливавшую его рот и наполнявшую его открытую рану.

Воздуха не хватало мне, ноги мои подкашивались, я схватился за спинку кровати, чтобы не упасть. Но, к счастью, на меня не обращали внимания. Над Луиджи уже суетился лекарь, и я мог несколько притти в себя, выполняя его приказания принести воду, приготовить корпии и повязки.

Луиджи был найден французским патрулем, подобравшим его и разыскавшим лекаря, который, узнав в Луиджи соседа, доставил его домой. Не странно ли, первую помощь ему подала вражеская рука.

-- Смотри, Марино, будь внимательней к раненому, - проговорил, уходя, лекарь, - его жизнь зависит теперь от пустяка. В случае нужды - беги сразу за мной...

Эти первые часы, проведенные мною наедине с исходящим кровью Луиджи, оставили по себе неизгладимый след. Еще и теперь мне кажется, что они принесли с собой непоправимое. Во мне говорило безумное желание сорвать повязки с Луиджи и тем закончить начатое. Но непонятный страх связал меня. Я сидел перед этим телом, борющимся со смертельной горячкой, и погружался душой в омут губельного бессилия. Неужели же всемогущий в своем милосердии простер над Луиджи руку и сохранил его жизнь? Или он в своем праведном гневе счел Луиджи достойным горшей участи и уготовал ему, как возмездие, жизнь слепца? Что скажет мне Луиджи, вернувшись к сознанию? Как объясню я ему все случившееся и как избегну его мести?

Соседи и знакомые Луиджи, узнав о несчастье, заходили в наш дом, расспрашивая меня о случившемся. Пришел французский офицер, которому поручено было расследовать дело, - я кратко рассказал ему все обстоятельства в том смысле, как это могло быть вероятным, и снова остался один с теми же мыслями, с тем же непреодолимым желанием сорвать повязки с Луиджи и, бросив его, захлебывающегося своей нечистой кровью, бежать из города.

Но кто может угадать эти тайные предчувствия, которые движут женщиной, когда она любит? Наталина должна была вернуться только на

следующий день, сбор винограда не мог кончиться раньше, и, однако, это она постучала вечером в дверь. Я открыл. Она вошла запыленная, но, как всегда, лучезарная в своей красоте. Я невольно бросился перед ней на колени и скрыл свое лицо в крае ее платья.

-- Что с ним?! - воскликнула она с таким стремлением и невыразимым горем, что стала ясной вся сила провидения, привлекающая ее сюда, и тяжесть удара при виде перевязанного и лежащего в постели Луиджи. Не скрою, я на миг пожалел о том, что сделал.

-- Мы были с ним у городского вала... На нас напали... Я едва спасся в темноте бегством, а Луиджи вот принесли... - пробормотал я и прижался губами к ее босой пыльной ноге.

Но сердце женщины в таких случаях, видимо, не обмануть. Она сильно ударила меня ногой в лицо и бросилась к кровати Луиджи. Тут, беззвучно рыдая, она припала к нему, глядя на набухшие кровью повязки.

Тогда я передумал. Я уже не жалел о сделанном. Я решил, что отдам все силы на то, чтобы выходить Луиджи. Посмотрим, подумал я, как постоянна будет ее любовь к слепому с проломленным носом красавцу. О, она мне должна была заплатить за это! Конечно, дом наш был на пустыре, Луиджи лежал в глубоком бреду, я мог бы сделать с ней, что хотел, и проучить ее за все оскорбления, которыми она меня наделила. Но я опасался мести ее родных и был достаточно чист душой, а кроме того, прав Луиджи, что не все можно сделать силой.

Наталина пробыла у нас до поздней ночи и в последующие дни посещала нас, ухаживая за Луиджи с утра до вечера и стараясь не допустить меня к нему вплоть до того дня, когда он пришел первый раз в сознание. Все это время она была как пьяная от горя и злобы ко мне. Я хорошо видел, что она старается восстановить против меня всех, кого может.

По счастью, первый раз Луиджи очнулся в ее отсутствие. Он поднял руку к голове и сказал:

-- Жжет... Зачем мне завязали глаза?

-- Луиджи, - ответил я, - тебе не завязывали глаз потому, что их нет теперь у тебя. Ты слеп.

Он долго лежал без движения, а потом снова ощупал рукой повязки.

-- Да, я чувствую, - сказал он и начал всхлипывать, как ребенок.

Потом он ощупал подушку и кровать.

-- Мартино, - позвал он меня, - как я попал домой?

-- Тебя принесли, - отвечал я, повторяя ему то же, что говорил офицеру, - тебя принесли спустя два часа после того, как мы с тобой

наткнулись на этих бродяг, которые гнались за мной почти до самого дома. Я заперся от страха, и первый, кому я открыл дверь, был патруль, нашедший тебя на дороге.

-- Да, я помню, - согласился он, - что я получил удар, от которого весь мир как бы сгорел в один миг, и я потерял сознание... Потом я очнулся и полз, пока было силы, в темноте, думая, что кровь от раны заливает мне глаза и мешает видеть... Добей меня, Марино...

-- Что ты говоришь, бог с тобой, - возразил я. - Ты увидишь, я положу все силы, чтобы поднять тебя на ноги. Не впадай в грех отчаянья. Мало ли в мире живет слепых людей?

Но Луиджи стал опять тихо всхлипывать и вскоре впал в забытие.

Я не считал нужным особенно нянчиться с ним в этом разговоре. Мне было важно выяснить скорее его отношение ко мне до того, как Наталина успеет восстановить его против меня. Поэтому я нетерпеливо ждал, когда он снова очнется, чтобы возможно лучше расположить его к себе. И едва лишь он подал признаки сознания, я сказал ему:

-- Луиджи, постарайся не волноваться, отнесись спокойно к своему положению и выслушай меня. Ты теперь слеп, у тебя нет родного человека, который ухаживал бы за тобой. Но ты меня приютил и обучал ремеслу, и я был бы неблагодарным псом, если бы не отплатил тебе добром за твое добро и не заменил бы тебе родного. Я вижу в этом свой христианский долг и возблагодарю бога, если он поможет мне поднять тебя на ноги. Будь же уверен, что я не оставлю тебя в твоей несчастной доле, а ты не забудь меня и дальше советами в мастерстве.

-- Я подумаю, - отвечал он коротко.

-- Если ты доведешь мое учение до конца, - продолжал я, - то ты не будешь у меня в долгу. Конец же не так уж далек, так как я не стремлюсь к неосуществимым целям.

На это я не получил ответа и предоставил Луиджи обдумать его.

Однако столь удачное начало могло быть испорчено, так как вскоре же в дом вошла Наталина. Я не уходил, чтобы не оставлять их наедине. Надлежало встретить опасность лицом к лицу.

Лишь только Наталина поняла, что Луиджи очнулся, она впала в сильнейшее волнение. Даже тогда, когда она впервые присутствовала при его перевязке и увидела его обезображенное, распухшее, разбитое лицо, она была тверже, чем сейчас. Я смотрел на ее обезумевшие глаза - они были полны смертельной муки и ярости. Я наблюдал ее короткие осторожные движения, с которыми она гладила волосы и руки Луиджи, слушал ее тихую, прерывающуюся речь, в которой она называла Луиджи

самыми ласковыми именами, и был готов каждое мгновение к тому, чтобы услышать, как она выдаст меня.

-- Саго mio, - говорила она, - не волнуйся, не отчаивайся... Ты увидишь, что несчастье не так велико... Нет, я не то говорю... Но ты ведь любишь меня немного, и ты увидишь, как мы теперь заживем... Теперь-то никто и ничто меня не остановит и не заставит откладывать свадьбы. Нет, ты не останешься без света: я буду собирать его для тебя отовсюду - с полей, с виноградников - и приносить к тебе как сумею в ласке и в любви, какой еще никогда не бывало и ни у кого не будет... Я постараюсь быть для тебя всем, заменить тебе все. Но если тебе этого будет мало, то ты сможешь понемногу привыкнуть к работе на ощупь. И пока я буду возиться с маленькими Руджери, ты попрежнему будешь делать скрипки, и они будут петь в Риме и в Вене, в Париже и Венеции... Я знаю, отец мне отдаст половину виноградников, он не так суров, как кажется, и твое несчастье поразило его в самое сердце... Ведь ты же любишь мои глаза, ты мне всегда говорил об этом, целуя... Так сделай же их своими на всю жизнь...

Да, если бы Луиджи посмотрел на меня ее глазами, то никакой надежды ни оставалось бы. Я видел, что она готова была меня растерзать, и если еще сдерживалась, то лишь оберегая покой Луиджи, который безмолвно сжимал ее руку.

Но мне наконец надоело слушать весь этот вздор, причитания и милования. Я прервал ее, сказавши:

-- Трудненько ему будет теперь измерять толщины и резать шейку...

-- Убийца! - завопила она вдруг так неистово, что я отшатнулся в невольном испуге. - Иуда, проклятый гад...

Она, видимо, потеряла голову.

-- Что ты, Наталина, - остановил ее Луиджи слабым голосом, с каким-то удивительным выражением, - ты ошибаешься... Он предан мне и добр. Ты увидишь, как он будет ухаживать за мной.

Но она припала к нему, как бы защищая его от меня своим телом, глядя с невыразимым страхом, ненавистью и растерянностью.

-- За что ты меня проклинаешь? - проговорил я, но не получил ответа.

Мы долго пробыли так все трое неподвижно, пока наконец Луиджи не пошевелился нетерпеливо, сказав:

-- Я хочу спать. Дайте мне покой...

Спал ли он или нет, я не знаю. Но мы вышли потихоньку, оставив его одного. Наталина бросила мне на прощанье взгляд, полный угрозы.

Так прошло несколько дней, когда я мог ожидать, что Наталина вот-вот прервет молчание и оклеветает меня в глазах Луиджи, к которому мало-по-

малу возвращалось здоровье настолько, что он шутил с заходившими к нему приятелями и с продолжавшим посещать его лекарем. Но я стал понимать, что когда-нибудь сумеет же Наталина остаться с глазу на глаз и выложит ему все, что у нее на душе. Кроме того, равнодушие Луиджи к обстоятельствам, сопровождавшим его несчастье, сбивало меня с толку. Даже к посещению офицера, которому было поручено расследование этого дела, он отнесся безучастно. Офицер этот, под натиском новых приятелей Луиджи, стоявших теперь у власти, арестовал целую дюжину бродяг и предлагал повесить двоих на выбор. Но Луиджи, видя в этом насмешку над правосудием, просил оставить бродяг в покое и прекратить поиски, так как злоумышленников он и раньше не видел в лицо и теперь все равно опознать бы не мог. Когда же офицер потребовал опознания от меня, Луиджи спросил с тем странным выражением, которое он теперь по временам усваивал себе:

-- Мартино, ты сможешь опознать?

-- Я не уверен, - начал я, - но, если мне покажут всех...

-- Нет, - прервал меня тогда Луиджи, обращаясь к офицеру, - Мартино был тогда в сильном страхе, - вряд ли будет разумно привлекать его к этому. Вы можете впасть в непоправимую ошибку.

И он настойчиво воспротивился продолжению следствия.

-- Помни, ты мне ответишь за каждый волос, упавший с головы этого патриота, - сказал мне, уходя, офицер с такой угрозой, как будто я был виноват в том, что ему не удалась намеченная казнь.

Мне от этого было не легче. Во всем положении была тягостная неопределенность, которую Луиджи, казалось, умышленно поддерживал. Моя первая растерянность, глубокий ужас увидеть Луиджи живым прошли, но теперь я ожидал удара с неизвестной мне стороны. Постоянная тревога волновала меня, и я настолько устал в конце концов, что стал желать этого неизбежного разговора Луиджи с Наталиной, который сулил мне наихудшее. И я уже мирился со всем, боязнь быть выброшенным в жизнь, полную нищеты, и даже быть отданным в руки злодеев веры не страшила меня так, как жизнь бок о бок с наказанным мною богоотступником, притаившимся и замышлявшим против меня недоброе. К тому же тогда уже я прослышал о святом деле, начатом кардиналом Фабрицио Руффо, и подумывал о том, куда направить свои шаги в изгнании. Я подготовил для себя кое-какие вещи на случай бегства и оставил Наталину наедине с Луиджи, будучи уверен, что она не преминет воспользоваться этим.

Когда я вернулся, выражение лица Наталины сразу показало мне, что судьба моя решена. Она почти тотчас ушла домой, и мы остались одни.

-- Не нужно ли тебе чего, Луиджи? - спросил я, чтобы прервать молчание.

-- Да, поди сюда, - сказал он, - я дам тебе ответ. Постарайся запомнить его, потому что у меня нет охоты повторять это дважды. Кто бы ни был герой, поднявший на меня руку, я не хочу его разыскивать с тем, чтобы привлечь к ответу. Мое несчастье слишком велико, и лишняя виселица дела не поправит. Моя жизнь отныне может быть только в тягость окружающим. Только это и заботит меня, и если бы удар камня был посильнее и свел меня в могилу, было бы лучше. Но я остался жить и через несколько дней встану, - стало быть, мне нужно позаботиться об окончании того, с чем до сих пор была связана вся моя жизнь. Есть еще вещи, задуманные и наполовину сделанные мной; в голове моей еще звучит звук, тот, что слышишь не ухом, но мыслью. И, может быть, я дам ему прозвучать для всех. Понемногу я постараюсь привыкнуть к работе на ощупь, - это нужно, Наталина права, и, быть может, если глаз уже не союзник мне в работе, то тем острее станет слух. Мне теперь нужен помощник, а не нянька, и я принимаю твое предложение. Я буду тебя учить. Но помни, что слова мои остаются в силе: я никогда тебя не назову своим учеником.

Все это было неожиданно для меня. Я никак не мог думать, что Луиджи так легко согласится на мое предложение, но, поразмыслив, я понял, что ему нет другого выхода. Раньше он часто пренебрегал моей помощью, теперь же увидел, что ему не найти такого подручного, как я. Что ж, если милостивый бог счел его кару достаточной, я готов был к тому, чтобы быть полезным Луиджи, ибо доброе дело - прямой христианский долг.

Таким образом, соглашение состоялось, и с этого времени здоровье Луиджи стало быстро восстанавливаться, как будто он черпал силы в своих мечтах о дальнейшей работе, к которой я, по правде сказать, относился недоверчиво, сомневаясь в успешности начинаний слепого.

Наталина, очевидно, знала о решении Луиджи - она ходила чернее тучи. Я избегал встречаться с ней, так как каждый раз, проходя мимо меня, она не забывала прошептать: "Убийца!.." Повидимому, какое-то слово Луиджи удерживало ее от брани вслух - в его присутствии она лишь шевелила губами, как бы клеймя меня, поистине не боясь греха. Я не подавал вида, что обращаю на это внимание, но это начинало тяготить меня, так как я-то в ответ должен был молчать.

Однажды утром Луиджи потребовал письменные принадлежности. Я дал ему. Он, видимо, переживая большую душевную борьбу, долго писал ощупью. Слеза скатилась из его пустых глазных впадин. Кончив записку,

он спрятал ее у себя на груди и несколько дней ни слова не говорил ни с кем, не исключая Наталины, которой это доставляло большое страдание. В один из вечеров, при прощании с ней, он схватил ее руку, оправлявшую постель, и порывисто прижал ее к губам. Она покрыла его лоб поцелуями, но он быстро оттолкнул ее и отвернулся лицом к стене. На следующее утро он снял с груди записку и дал ее мне, чтобы я отнес Наталине.

По дороге я прочел ее - Луиджи прощался навеки, запрещал навещать его и когда-либо пытаться увидеть.

С каким наслаждением отдавал я это письмо Наталине. Она мертвенно побледнела и схватилась рукой за грудь.

-- Нет, это не может быть! - вскричала она, бросив на меня взгляд, полный ненависти. - Я этому не верю, это не он писал!..

Я ничего не ответил. Я знал, что мои слова только ухудшили бы дело, что бы я ни сказал. Она накинула шаль и бросилась к Луиджи. Я еле поспевал за ней. Услышав ее шаги, он весь вздрогнул и изогнулся. Она схватила его руки, целуя, а он то ласкал, то отталкивал ее, грудь его бурно поднималась и опускалась.

-- Как ты мог, как ты мог?! - повторяла она, плача и смеясь.

-- Наталина, темное солнце мое, так нужно, - отвечал он. - Я теперь чудовище... Я умер для любви, ее не может быть, все погибнет и разобьется о мое уродство...

-- Нет, я помню тебя другим... Ты для меня навсегда остался тем же. Я люблю, я не могу с тобой расстаться...

Она кричала, совершенно не обращая на меня внимания, и иступленно целовала губы и лоб Луиджи. Он, видимо, в жестокой тоске, заломив руки, едва справлялся со своим дыханием и вдруг захрипел, кровь хлынула из носоглотки и залила подушку...

На следующее утро, услышав опять шаги Наталины, он только сказал:

-- Это насилие надо мной. Я не хочу, чтобы ты меня видела.

И с этого времени совершенно перестал с ней разговаривать.

Теперь Наталине не оставалось ничего другого, как только издалека, через раскрытые двери изредка взглянуть на Луиджи. Переложив гнев на милость, она даже просила меня о том, чтобы я почаще оставлял их раскрытыми. Но я не пошел на это, чтобы не потакать ее навязчивости и, наоборот, захлопывал двери, лишь только она показывалась.

Некоторое время я еще встречал ее бродившей около нашего дома, с четырехугольным куском черного крепа на лбу вместо маски, - она думала, что я ее не узнаю. Затем она исчезла, и я только издали видел ее на улицах одетой так, как ходят в наших местах вдовы - в вуали и накидке с

нашитыми спереди белыми полосами, с чепцом из белого газа на голове.

Между тем Луиджи встал, и началась обычная жизнь, и наша работа в ремесле теперь уже общая.

Долго пришлось ему привыкать и приспособляться к работе на ощупь, и я только удивлялся настойчивости и терпению, которые он проявлял в этом деле. Он был способен по целым часам движением руки проверять кривизну края деки или толщину в ее сводах с помощью приспособленного им циркуля с глубокой нарезкой делений, доступной осязанию. Он придумал множество различных приемов, облегчавших и уточнявших его работу, при чем в основу он положил лекала, точно снятые с инструментов его последних квартетов. Особыми зарубками и знаками он тщательно разметил все свои патроны и все это расположил так, что всегда имел под рукой нужное. Но, несмотря на это, несмотря на всю точность его осязания, гибкость и быстроту его пальцев в работе, которым я невольно удивлялся, Луиджи было далеко до прежнего. Он должен был переучиваться во всем с начала, как он сам это признавал, и это было очень полезно для меня, так как я мог теперь шаг за шагом следить за его работой, извлекая для себя нужное из каждого его движения, требуя от него, согласно нашего уговора, во всем объяснений.

Никогда раньше я не видел его столь трудолюбивым и усидчивым. Он проводил теперь за работой целые дни, и его увлечение было так велико, что он не чувствовал нужды ни в людях, ни в отдыхе. Так же, как и с Наталиной, он порешил расстаться со всеми своими друзьями и собратьями по ремеслу, не исключая даже закадычного друга своего Сториони. С каждым заходившим он, остановив все соболезнования, распивал бутылку вина и прощался навсегда, прося забыть о его существовании. Немудрено, что таким образом он добился своего, - мало-по-малу нас совершенно перестали посещать, чем Луиджи был очень доволен.

Теперь к нему стало возвращаться хорошее расположение духа, на смену тому странному окаменелому бездушию и спокойствию, которые владели им со времени несчастья. Одно время я стал побаиваться этой каменной жестокости и безразличия, проявляемого им ко всему, начиная с той же Наталины: я задумывался - не есть ли это начинающееся безумие, как последствие удара, от которого таким чудом оправился Луиджи.

И теперь я был рад наступившему перелому, иначе некстати появившееся затмение разума могло бы помешать моему учению, заканчиваемому с таким трудом. Я торопился получить все, что было возможно, смутно чувствуя, что это увлечение Луиджи может быть непрочным.

Так жили мы, не знаясь ни с кем, занятые только работой. Если раньше, отвлекаемый множеством различных соблазнов своей беспечной и легкомысленной жизни, Луиджи оставлял меня одного самостоятельно разбираться во всех тонкостях мастерства, то теперь он, казалось, находил особенное удовольствие в том, чтобы повторять вслух все правила постройки инструментов, добытые им в работе. Он как будто проверял запасы своих знаний, быть может, испытывая сомнения в своих силах. Для меня это было незаменимо, - я познавал отраву приближения к тайнам углубленного мастерства, и это время, проводимое нами в общей работе, когда я, уже достаточно успевший в учении, мог по достоинству оценить разнообразие знаний, которыми владел Луиджи, живо напоминало мне первые дни пребывания у него, запечатленные в моей памяти неразлучно с робким изумлением к его таланту, некогда всецело владевшему мной. Правда, я не забывал одновременно и о темных сторонах его нрава, о том, что лишь кара, постигшая его, вселила в него дух смиренного трудолюбия, что печать мерзости и богопротивных суждений попрежнему владеет им. Но крылья его были подрезаны, он был беспомощен в моих руках, и я готов был простить ему его заблуждения и его жестокое отношение ко мне, поскольку он был обречен, вопреки своей воле, каждым усилием подвигать мое совершенствование.

А он попрежнему, и чем дальше, тем больше пользовался каждым случаем, чтобы чем-нибудь уязвить меня, относясь ко мне свысока, подчас явно насмехаясь надо мной, на что я не обращал внимания, не считая это важным, лишь бы Луиджи не изменил первоначальному уговору. Что толку мне было в том, когда, напустив на себя смехотворную важность, он произносил что-либо в высокой степени неясное и прибавлял:

-- Этого ты никогда не поймешь своей бедной головой.

Мне было достаточно того, что я понимал, - остальное он мог бы оставить про себя. И напрасно он старался уверить меня, что делает дело, когда с многозначительным видом, приложив к уху дерево, он выстукивал его всячески целыми часами. Для него это имело значение, так как это был единственный доступный ему способ определить годность материала, я же, благодаря богу, имел для этого глаза.

Впрочем, правду сказать, Луиджи попрежнему превосходно различал дерево; он, казалось, сроднился с ним, обходя малейший сучок, безошибочно определяя на вес его сухость и лежалость, как бы видя своими пальцами и ушами слоистость, вязкость и рисунок волны. Когда он с большим страхом и тревогами принялся за свою первую после слепоты скрипку, я, судя по тщательности его долгих приготовлений, уже заранее

верил, что она выйдет не плоха, хоть и хуже, чем бывало. Законченная, она превзошла мои ожидания, что объяснялось терпеливостью и осторожностью, которые проявлял теперь Луиджи в долблении и резке дерева.

Впрочем, никакое терпение не помогло бы ему в прокладке усов, поэтому он сделал скрипку безусой. Еще хуже дело пошло там, где требовалась быстрота и руководство глаза, - в лакировке. Луиджи волновался, требуя от меня приготовления различных лаков, при чем я узнал от него составы, дотоле мне совсем не известные; но когда он приступил к лакировке, вся его опытность и изворотливость оказались бессильными. Драконова кровь, которую любил он употреблять, легла неровными пятнами, не согласуясь с рисунком дерева, общий тон скрипки был слишком темен, отяжеляя ее вид. Я предлагал Луиджи доверить лакировку мне, но он, разумеется, отказал.

-- Ты способен в лучшем случае зализать ее внешность, - сказал он и долго еще насмеялся надо мной, обнаруживая в этом злобу по поводу своего бессилия.

Быстросохнувший лак, который он употребил на этот раз, позволил скоро натянуть струны на совершенно готовую скрипку, и надо было видеть, с каким торжеством и гордостью он пробежал первый раз смычком снизу доверху.

-- Ничего, Луиджи, ничего, бедняга, ты еще не сдал, - говорил он в вихре двойных созвучий. - Секунда твоя звучит дьявольски полно, прима поет как влюбленный серафим... и кварта и терция не оскорбили строя своей грубостью... Не плохо, Луиджи. Ты еще можешь, не роняя себя, означить инструмент своим именем.

Долго расхваливал он себя подобным образом, заливаясь веселыми каденциями, надоев мне и рассердив меня своей похвальбой. Затем, сняв струны, он вскрыл наново скрипку и, к большому моему неудовольствию, дрожащей рукой принялся выжигать свой позорный знак.

-- Постыдился бы ты, - сказал я ему. - Если бог сохранил тебе способность к работе, то тебе следовало бы, по крайней мере, перестать гневить его.

-- Откуда это у тебя смелость учить меня? - спросил он с высокомерным удивлением. - Побереги свой елей на другие случаи жизни.

Только в таком человеке, как Луиджи, можно было встретить подобную неисправимость, и я бросил думать о нем, так как у меня были свои заботы, - к этому же времени заканчивал и я свою скрипку.

Я не хочу распространяться о своей работе, но в это время невольное

сопоставление приходило мне в голову. Я сравнивал наши инструменты, и мне становилось ясно, насколько я подвинулся вперед, так как моя скрипка выглядела значительно красивее Луиджиевой. Это происходило не только от того, что лакировка моя была несравненно ровнее, но также и от качества лака, составленного мною для Луиджи по его указаниям. Да, я хорошо теперь чувствовал, как важны эти секреты, которые я вырывал один за другим у Луиджи. Головку и шейку к скрипке я дал из числа тех, что валялись у него без дела, оставшись от прежних времен, так как я не считал, что они ему могут понадобиться - много ли ему осталось еще на своем веку сделать!.. И это была счастливая мысль - все потом расхваливали завиток моей скрипки, придавший ей особенно нарядный вид.

Когда Луиджи, не притронувшись смычком, а лишь пробежав по струнам пиччикато, небрежно сказал мне: "Если тебе дадут за нее золотой - продавай", я знал, что это было уже признание. Уж раз Луиджи оценил ее в золотой, то я мог надеяться, что она стоит по крайней мере втрое.

-- Впрочем, я не торговец, - добавил он. - Может быть, и того не дадут. Но ты захвати и мою скрипку - и ступай, продай обе. То, что я не хочу показываться в городе, не значит еще, что Луиджи Руджери не стало, - еще этикетки его будут появляться, и пусть музыканты и мастера знают по ним, что дух его жив. А до остальных мне дела нет.

Нужно сказать, что к этому времени нам уже стала грозить нужда. Продолжительное безделие Луиджи и его упорное нежелание расстаться с последними квартетами, которые он решил оставить себе, а также общее затишье в делах и оскудение, пришедшие вслед за грабежами французов, ставили нас в тяжелое положение. Но Луиджи, казалось, не хотел обращать внимания на нехватки, говоря:

-- Ничего, перетерпим, пока опять пойдут в ход скрипки.

Поэтому я был очень доволен его поручением, тем более что в первый раз в жизни предстояло и мне заработать кое-что.

Я знал, что в это время в Кремоне находился приехавший из Милана скупщик скрипок Ридольфи, перепродававший их во Франции, и прямо направился к нему. Но по дороге странная мысль пришла мне в голову. Я спрашивал себя, что за блажь нашла на Луиджи? Почему он сидит безвыходно дома и заставляет меня нести на продажу инструмент с этим отвратительным знаком? Видя, с каким трепетом и волнениями он работал над своей скрипкой, я не мог теперь уяснить себе, почему он отказался от удовольствия вынести в свет эту скрипку, чтобы показать ее своим друзьям и похвалиться своей работой. Мне чудилось, что это не просто.

Проклятый знак отяжелял мою ношу. Я рассматривал сквозь эф злодейские литеры, и чем дальше, тем острее сознавал беспредельное коварство, с которым Луиджи хотел сделать меня своим пособником. Поистине, заступничество божье помогло мне одуматься и изменило мой путь.

Я зашел в знакомую мне келию отца Себастьяна, где жили теперь два брата доминиканца, - Маттео и Грегорио, - и, раскалив с их помощью иглу, сделал то, что подсказала мне вера: зачернив широким крестом гнусный знак, я выжег по углам его начальные буквы девиза, столь давно руководившего орденом св. Доминика: "Ad majorem Dei gloriam".

Только после этого направился я наконец к Ридольфи.

Узнав, что я от Луиджи, он принял меня хорошо и долго разглядывал обе скрипки и пробовал их на звук.

-- Странно, - сказал он наконец, - не узнаю работы Руджери. - Эта, что без этикетки, звучит очень слабо. Звук другой превосходен, но почему-то она без усов, отделана небрежно, и подобную этикетку я вижу в первый раз. Если бы не смелость завитка, отличающего всегда Руджери, трудно было бы поверить, что обе скрипки работы одной и той же руки.

Опасаясь, что Ридольфи разочаруется в покупке и станет сбивать цену, узнав о слепоте Луиджи, я затруднялся, как ему ответить, когда спасительная мысль пришла мне в голову:

-- Обе скрипки моей работы, - сказал я, вспомнив, что широкий крест уничтожил имя Луиджи, - я его ученик, но он не разрешает мне упоминать об этом в этикетке.

Однако мой расчет не оправдался. Жадный купец, воспользовавшись моим признанием, слышать не хотел о назначенной мною цене.

-- Какой толк в безымянной скрипке? - говорил он. - Среди покупателей не много найдешь знатоков, - все ценят скрипку по имени мастера... Семья Руджери насчитывает не одно имя, славное в скрипичном деле. За эту, с крестом, я дам половину того, что ты просишь, но и то лишь в том случае, если Руджери согласится назвать тебя своим алюмнусом, о чем я должен услышать из его собственных уст.

Скупость Ридольфи так меня возмутила, что я не стал больше с ним разговаривать, тем более, что он все сильнее настаивал на своем желании видеть Луиджи, говоря, что, пожалуй, даст ему заказ. Хотя заказ и явился бы весьма своевременным в нашем стесненном положении, мне пришлось ему объявить, что Луиджи никого не видит, избегая людей, о чем я ему посоветовал справиться у других мастеров Кремоны.

Я ушел от скряги, обеспокоенный ложным положением, в которое попал благодаря проклятой скрипке Луиджи. Размышляя о дальнейшем, я

предпочел не приносить инструментов домой, а отдать их на время братьям доминиканцам, что и сделал. Луиджи я сказал, что Ридольфи просил оставить скрипки ему и даст ответ через неделю.

-- Разумеется, - ответил Луиджи, - этот толстопузый судит о цене инструмента только по тому, как ему удастся продать. Пусть подумает, пусть побегает с ней и посоветуется. Увидим, посмеет ли кто утверждать, что слепой Руджери стал хуже слышать, чем когда он был зрячим. Я в эту скрипку вложил такое понимание звука, какое никогда не могло бы притти мне, полному зримого общения с миром. Ты думаешь, - и я не спорю с этим, - что лакировка моя несовершенна, а общая отделка грубовата. Пусть так. Но пусть кто-нибудь даст такой же очищенный от всего, что можно взвесить, звук...

Луиджи улыбался хитрой тихой улыбкой, и если бы глаза его были целы, я уверен, что они блестели бы тем внутренним загадочным блеском, так знакомым мне, появлявшимся раньше у него, когда он говорил о своей работе. Можно же было оставаться столь самообольщенным...

-- А я, - продолжал он, - придумал маленький фокус. Ну-ка попробуй разгадать, отчего в этой скрипке такой прозрачный тон?.. Как бы я хотел повидать Сториони, дать ему услышать, пробежать по всем струнам!.. Но нет, что может быть хуже - делиться с близкими и любимыми людьми тяжестью своих несчастий, таких наглядных. А он и так услышит об этой и еще о других, лучших скрипках Руджери...

Взваливать на меня свои несчастья Луиджи не считал грехом, - я не был ему ни близким, ни любимым, это я прекрасно понимал, так как он со мной не стеснялся.

Вообще он становился болтлив. Я ему сказал, не вытерпев, что Ридольфи дает половину назначенной цены, но он даже не обратил на это внимания, уверенный, что общие похвалы скрипке заставят Ридольфи одуматься. И всю эту неделю, пока я размышлял о том, как мне повернуть дело, он продолжал бахвалиться, уже работая над новой скрипкой, с тем же увлечением и даже какой-то яростью.

К концу недели он с такой настойчивостью стал приставать ко мне, чтобы я сходил за ответом к Ридольфи, что мне пришлось итти за скрипками, хоть я ничего не успел придумать для улучшения дела. Уже подходя к дому, я положил объяснить ему всю правду, чтобы посбить с него спеси.

-- Луиджи, - сказал я, возвращая ему скрипку, - Ридольфи не дает даже половины, говоря, будто трудно поверить, что скрипка эта твоей работы, - до того она не похожа на прежние. Все, с кем он говорил, смеются над ее

уродством...

-- Они ничего не понимают! - вспылил Луиджи, но потом, видимо, одумался и добавил: - Что же это значит?

-- Значит, ты не нужен, - ответил я с досадой на его самомнение.

Он больше ни о чем не спрашивал, молчал, упорно работая и только вечером разразился ругательствами и богохульством.

Но долгое молчание было теперь, видимо, не по нем, ему нужно было постоянно говорить вслух, и в следующие же дни, продолжая настойчиво работать, он безостановочно говорил о том, что он всем им покажет, что он придумал невиданный изгиб сводов, что для него теперь ясно, насколько все, даже великие мастера, ошибались, и как нужно располагать к краям толщины дек, и как он всем утрет нос. Он считал, что то, над чем он работал сейчас, только первый опыт к открытиям, которым надлежало перевернуть все законы постройки смычковых инструментов; он твердил об этом порою торжественно, порою бессвязно.

Прежнее подозрение, что он повредился в рассудке, возвращалось ко мне, и я считал нужным осаживать его.

-- Не ошибаешься ли ты, - говорил я ему. - Правда, ты знаешь ремесло и хорошо зарабатывал им. Но старые мастера создали скрипки, достойные всеобщего признания и всяческого подражания. По силам ли тебе оспаривать их приемы? Твои великие замыслы и так уже привели тебя к тому, что над тобой стали смеяться.

Раньше за такие речи Луиджи обрушился бы на меня со всем своим гневом, но теперь он принимал это безучастно. И вообще мне теперь казалось, подчас, что он не замечает меня, говорит как будто не мне, а кому-то третьему. Иной раз я договаривался до того, что советовал ему даже бросить всякую работу, так как она все равно обречена гибели. Он слушал, усмехаясь, и я видел, что бес попрежнему владеет им. А для меня все больше терялся смысл нашего уговора с ним, так как я переставал видеть толк в указаниях одержимого.

Но мы работали попрежнему неустанно. Луиджи так уже наловчился в работе на ощупь, что значительно перегнал меня. Его скрипка вышла причудливой, непривычной для глаза формы, низкого и мощного тона, с призвуком меди в высоких звуках. Мне она не понравилась, но он объявил, что никогда ничего лучше не сделал и не пожелал даже слышать о том, чтобы продать ее.

-- Это еще не то, что я хочу, - они все равно не поймут, - объяснял он. - А вот следующая заставит их призадуматься.

И он сразу же принялся за третью.

Не сумею сказать, что тут случилось с ним, но только работа у него не пошла на лад. По временам он впадал в мрачную задумчивость, по временам горячечный румянец заливал его щеки, стамеска вываливалась из его рук, и он начинал быстро про себя шептать что-то трудно уловимое.

Что мне было до того? Я был полон своими заботами. Я видел, как непрочно наше благосостояние; скрипку свою я с трудом задешево продал, убедившись на этом, как не легок в наши времена заработок скрипичного мастера, и передо мной во всей неприглядности вставало будущее.

Братья Маттео и Грегорио уже виделись с человеком, прибывшим из Неаполитанского королевства, ставшего колыбелью правого дела, и мы обсуждали возможность пробраться на юг. Мог ли я позволить себе поддаться блажным влияниям?

А между тем постоянное соседство полубезумного человека пагубно отражалось на мне. Не говорю уже о том, что из тихого он мог каждое мгновенье стать буйным и причинить мне бессмысленное зло, что заставляло меня быть начеку. Хуже всего было наблюдать его поведение, полное необъяснимых странностей, и поневоле, будучи свидетелем взбалмошных поступков, я терял спокойствие, заражаясь постоянными тревогами, обуявшими Луиджи.

А он ходил, ощупывая куски дерева и по временам выстукивая их как деки и прислушиваясь к звону.

-- Это альпийский клен, - говорил он. - Я хотел из него сделать нижнюю деку с зеркальным разрезом. И скрипка пела бы, как птица на рассвете, легко и радостно. А из этого куска я бы сделал меццо-сопрановую скрипку со звуком темным, как темна страсть у женщины в тридцать лет. И сделал бы альт печального и нежного тона... А вот эта скрипка была бы как развернувшийся акантовый лист, а эта - как нераскрытый лилейный бутон...

Дрожащими пальцами он перебирал куски дерева, гладил его, прижимал к груди и шептал в ужасном отчаянии:

-- Вы - как нежнейшая завязь, с незаконченным порывом к жизни. Вы - как утробные дети, еще не рожденные, но тут же проснувшиеся к бытию. Вы окружены костной материей и связаны ею - никто никогда не освободит вас теперь от этого плена. Ваши неясные движения чувствовал только носивший вас - они замрут теперь в холоде небытия...

И вдруг, вставши во весь рост и вперив в меня пустые свои глазницы, Луиджи воскликнул с ужасным воплем:

-- Будь же проклят тот, кто сделал меня калекой, - он хуже палача: он убил этим вас, мои замыслы! Лучше бы он убил меня!

Его жалобы выводили меня из себя и, против моей воли, рождали

враждебное чувство. Я с удовольствием наблюдал все его мучения, поистине заслуженные им. Теперь, теряя самообладание, он выдавал себя этими противоестественными беседами с деревянными чурбанами и подтверждал мои старые подозрения о том, что он заговаривал дерево. Последние же слова заставили меня содрогнуться.

-- Будь осторожнее, Луиджи, - сказал я ему, - ты играешь с темными вещами. Или ты знаешь действие слов твоих на эти мертвые бревна, когда желаешь себе смерти?

Я сказал это не совсем просто, но с угрозой в голосе. С некоторых пор мне было все труднее сдерживаться. Луиджи просветлел лицом, напомнив на миг то время, когда он устраивал с товарищами веселые пирушки, и сказал беспечно:

-- Что ж, Мартино, чем хуже, тем теперь для меня лучше.

Все же общее состояние его духа все время ухудшалось. Он по целым дням то лежал на кровати, то беспокойно ходил из угла в угол, натываясь на вещи, и уже совершенно не притрагивался к стамеске. По ночам он часто не спал, лежа на кровати в темноте, которая, впрочем, не менялась для него и с появлением дня. Но его увеличивающаяся мрачность заставляла меня быть всегда настороже. Разве мог я предвидеть его мысли?

Я торопился из всех сил в работе. Трудное и неблагодарное время сопутствовало моим усилиям выбиться в люди. Вместо того, чтобы спокойно работать над каждой мелочью, я вынужден был спешить, зная, что это во вред делу. Но меня побуждало сознание грозившей нищеты, так как Луиджи все сильнее обнаруживал свою никчемность. Мы жили уже не на заработок, а на деньги, вырученные за продажу вещей, которые отдавал мне одну за другой Луиджи. Какую цену теперь имел наш уговор с ним? Я был им снова обманут и отнюдь не хотел превратиться в его дарового слугу.

Впрочем, со следующей моей скрипкой мне повезло, - я кое-что заработал после того, как безуспешно потерял несколько дней на продажу. Однажды, когда я возвращался домой, я услышал топот лошадей, настигавших меня по пыльной дороге, и едва успел посторониться, как мимо меня пронеслась запряженная парой прекрасная коляска, в которой я узнал епископский выезд. Но вместо монашеского головного убора я увидел сзади развевающийся плюмаж шляпы французского офицера и рядом с ним трепетал в воздухе тонкий шелковый шарф дамы. Коляска внезапно остановилась недалеко от меня, и, когда я поравнялся, сидевший в ней полковник сделал мне рукою знак подойти.

-- Ты продаешь свою скрипку? - спросил он меня, между тем как дама его невнимательно отвернулась.

-- О да, - отвечал я и назначил, судя по богатству одежды француза, три золотых.

-- Получи, - сказал полковник, вынимая кошелек.

Но в это время дама его быстро повернулась к нам лицом, промолвив:

-- Постой, ты раньше нам сыграешь что-нибудь...

Мог ли я ожидать, что это Наталина? А между тем это была она. Роскошное платье ее было отделано жемчугом. Ценные перстни и браслеты унизывали ее руки, крупные серьги сверкали в ушах. Она излучала вокруг себя сияние, прекрасная, как никогда. Я чуть не выронил скрипки, пораженный этим видением.

-- Ты слышал, что синьорина приказывает, - сказал нетерпеливо полковник, хлопнув хлыстом по своему сапогу.

-- Синьорина, - пробормотал я, - сможет ли вам понравиться моя жалкая игра?

Дрожащими пальцами я наиграл неаполитанскую песенку, первое, что пришло мне на ум, все время не спуская с нее глаз.

Она нетерпеливо повела плечом.

-- Довольно! - крикнул полковник, прерывая меня и, бросив мне пять луидоров, взял из моих рук скрипку.

Я поклонился и хотел отойти.

-- Постой, - снова остановила меня Наталина легким движением руки, которую полковник поцеловал на лету. - Скажи мне, как живет твой хозяин? Здоров ли он?

-- Он, пожалуй, здоров телом, синьорина, - отвечал я, - но рассудок его, мне кажется, слабеет.

-- В чем ты это видишь?

-- Синьорина, все, что было в нем сумасбродного и порочного, овладевает им безраздельно. Кара господа тяготеет над ним. Он не достоин милосердия и вашего внимания.

Вместо ответа она вырвала хлыст из рук полковника, и резкий удар обжег мне лицо.

-- Скотина! - крикнула она и добавила еще одно площадное слово, не подобающее даже мужчине.

Лошади рванули, и коляска вихрем унеслась. Я только молча смотрел вслед потаскухе, сжимая кулаки.

Когда я вернулся домой, след удара еще горел на моем лице.

-- Знаешь ли, кого я видел? - сказал я Луиджи. - Наталину. Она была...

-- Я не прошу тебя рассказывать, - перебил меня Луиджи.

-- Она стала куртизанкой! - крикнул я ему в самое ухо...

Луиджи схватил меня, как клещами, за руку, но я не склонен был молчать.

-- Продажная тварь, она вся в золоте, награбленном санкюлотами... - продолжал я.

Тогда Луиджи сильно рванул меня за руку, повалил на землю и, прижав мне коленом грудь, так сдавил рукою горло, что я едва не задохся. Пальцы мои, которыми я старался оторвать от себя его руку, ослабли, и я считал себя уже погибшим, так как сила Луиджи удесят�ерялась безумием. Он склонил надо мной свое перекошенное лицо и прошипел:

-- Я убью тебя, как собаку, если ты осмелишься еще раз назвать мне Наталину...

Не помню, как он отпустил меня. Я пришел в себя тогда, когда он уже лежал на кровати навзничь, ровно и спокойно дыша.

Грудь моя была сильно измята, рука носила синяки от пальцев Луиджи. Три дня после этого я проболел, не будучи в силах вернуться к работе.

Этот случай дал мне понять всю опасность моего положения. С этих пор я принужден был следить за каждым движением Луиджи. Вся жизнь разладилась.

Силы мои истощались в этом постоянном ожидании внезапного удара. Вместо того, чтобы завоевывать себе уменье и имя мастера, я погружался мыслью во все перемены его настроений. Его беспокойные шаги, лихорадочное перебирание заготовок, различных лекал и стамесок, подчас дикая игра на скрипке и снова безостановочная ходьба, какое-то метание по комнате, - все это так отдавалось в моей душе, что я как бы утратил собственное лицо, способность к работе и стал жить какой-то двойной жизнью, наполовину своей, наполовину Луиджиевой. Затем началось еще худшее.

Однажды я задремал и вдруг проснулся среди ночи от его зова. Он сидел у меня на кровати и сжимал мою руку.

-- Ты слышишь, Мартино? Ты слышишь? Они стонут!

Я задрожал в ужасе, не понимая, кто они, и стал креститься, вспоминая молитву. Догадавшись об этом, Луиджи сказал:

-- Брось свои бабьи вздоры, дело не в нечистой силе. Стонет дерево - слышишь?

Мы сидели в полнейшей тишине; шум затихшей Кремоны не доносился к нам. И вот я услышал, действительно, легкие звуки, как будто легкий звон выстукиваемой деки. Волосы зашевелились у меня на голове, я весь сжался и окаменел от ужаса. Луиджи временами шептал:

-- Ты слышишь? Это альтовая нижняя дека, я почти ее сделал, она ближе всех к бытию и громче звучит. Но есть и другие, слушай... те едва зачаты...

И я расслышал другие; они были тише вздохов, но тем сильнее заставили меня сжаться. Покрытый испариной, слушал я хор этих тихих стонов. По временам это казалось просто шелестом ветра, по временам же напоминало те звуки, что рождаются вверху в куполе, когда играет орган.

Я снова стал креститься, а Луиджи сказал:

-- Я уже давно слышал, но думал, что ошибаюсь.

Теперь я вижу, что слух не обманывал меня, хотя, быть может, он острее к этим звукам, чем к каким-либо другим.

И он ушел к себе на кровать, а я уже не сомкнул в ту ночь глаз. Как ни закутывал голову, я не мог освободиться от этих звуков - они были тихи, почти неслышны, но проникали всюду, как будто для них были прозрачны все препятствия, и замолкли лишь к утру, когда проснулся городской шум.

Все же я не обмолвился ни словом Луиджи о том, что слышу, ни этой ночью, ни на следующий день. Я знал, что он смеется над богом и над сатаной, и, конечно, я мог считать его только союзником нечистого. Я молчал и лишь усердно наложил знаменье святого креста на все вещи, все чурбаны и заготовки, находившиеся у нас в доме. Днем, после бессонной ночи, я ходил как вареный, а вечером лег рано спать и сразу заснул мертвым сном.

Я проснулся от жуткого чувства, что кто-то бодрствует в темноте. Вчерашние звуки слышались еще явственнее.

-- Мартино, опять... - сказал Луиджи, услышав, что я ворочаюсь.

Мы лежали и долго слушали.

-- Мне кажется, - сказал опять Луиджи, - что это уже не деки, а как будто полная скрипка звучит в ре-ре, - та, что задумал я по высокому образцу Иосифа Гварнери дель Джезу...

Я уже заметил это раньше. Теперь звучали уже не отдельные куски, а целые объемы, - это было ясно. Никогда не могла бы звучать так полно одна какая-нибудь дека. Было слышно, как звук осторожно понижался и повышался, как будто настраиваемый пружиной, ему сопутствовал другой постоянный звук, и временами они сливались, полнели, умножаясь, обогащаясь, и звучали как объем в чистое ре. Да, это Гварнери... Но тотчас все расстраивалось, как будто не имея стойкости и сил держаться в согласии, и тогда начинались невыразимые шопоты, словно задыхались в могиле заживо погребенные дети. И я с остановившимся сердцем лежал, скорчившись, и ждал, чтоб все немного затихло и снова возникло в звуках

согласие. На миг рождался звук другого певучего объема в си бемоль или до и затем снова рассыпался в подавленные стоны. Но я уже узнавал ту или другую начатую Луиджи скрипку и мог сказать, что эта была задумана в альтовом духе Маджини, а та по образцу великого Страдивари.

Луиджи опять пришел и сел у меня в ногах на кровати.

-- Ты знаешь, - зашептал он, - мне теперь все кажется, что мысли мои имеют какую-то связь с этим деревом. Лишенный возможности работать, я хожу днем и все думаю, как бы я сделал то или другое и что из этого бы вышло. И я замечаю, что как будто бы звуки ночью меняются от моих мыслей, от бесформенных тупых чурбанов отрываются звоны свободных дек, и части соединяются так, как я бы хотел и наметил, и звучат так, как я ожидал. Но я не могу лишь удержать их в этом положении: все рассыпается сразу же, как случайное очертание облаков. Если бы я мог остановить и заставить застыть мои мысли, то, быть может, закрепились бы и эти звуки. Впрочем, это было бы еще горшим несчастьем для меня - никакие удары судьбы, к счастью, не могут вырвать у мастера живого движения замыслов в его душе. Но какая это мука, - добавил он, - не иметь возможности ничего закрепить и носить все это в себе...

Я мог бы ему возразить, что своими проклятыми заговорами он добился того, что и я не имею покоя от его скрипок, но промолчал, не желая поддерживать ночных разговоров, которые вселяли в меня ужас.

С тех пор я потерял совсем сон. Днем я вяло работал, уже с утра чувствуя приближение ночи с ее жутким бредом, ночью в плену у этих колдовских звонов лежал с раскрытыми глазами. Приходил вечно бессонный Луиджи и заводил свою дьявольскую песню.

Теперь мы слышали уже отдельные нежные аккорды, временами в квинту звучали как бы натянутые струны, квартами и квинтами проверялись высокие позиции, насыщая ночь жутью, полной жизни.

Однажды Луиджи как бы нарочно ответил на мои мысли:

-- Не удивительно ли, - сказал он, - что ты, бездарное, завистливое существо, слышишь все это вместе со мной? Темной своей головой ты не можешь никак объяснить себе этого; ты ходишь, наверно, к своим монахам и с ужасом рассказываешь им о том, что дом Руджери населен дьяволами. И они поддакивают тебе... А между тем это так просто. С тех пор, как я владею смычком и стамеской, звук всегда сопутствовал мне, где бы я ни находился. Бродил ли я по берегам По, уходил ли в поля или был в *Commedia dell'Arte*, - везде я слышал земные звуки и невольно думал о том, как они могут быть повторены скрипкой. И если темным беззвучным вечером я оставался один и продолжал слышать их, мне не казалось это

странным, - так точно громада каменных зданий впитывает в свою толщу солнечное тепло и долго еще после заката хранит в себе теплоту отсиявших лучей. Так ярмарочный купец, вернувшись домой, все еще полон базарным шумом. Так юноша в разлуке с любимой не может забыть ее речей. Мне странно казалось скорее, когда говорили о совершенных произведениях искусства. Я помню себя полным таких могучих и звучных движений, что все, что я сделал до сих пор и что мог когда-либо сделать за всю свою жизнь, как бы она ни была долга, выразило бы лишь ничтожную долю того, что я хотел. Когда же сможет человек рассказать об этом так же просто, как он просит пить?.. Но почему же теперь ты вместе со мной стал слышать?..

-- Я ничего не слышу, - возразил я, - ты безумен и бредишь.

-- Почему же ты бормочешь по ночам молитвы, - продолжал Луиджи, не слушая меня, - почему ты стал бояться того, что дает мастеру возможность высказать себя, почему ты притащил распятое и держишь его на верстаке среди заготовок? Не значит ли это, что сквозь твою глухоту пробился голос, наполнивший тебя неизбывным страхом? Я слышу свое, а ты свое, я слышу простые и родные мне с детства звуки, а ты, быть может, нагородил вокруг едва просыпающейся чуткости своего уха сеть страхов и нелепостей, которые пугают тебя. А может быть, дело в том, что ты не совсем здоров рассудком, а?.. Кто скажет... Есть и еще причина, - это то, что мы долго жили вместе, и как бы ты ни относился ко мне, ты все же рос душою за мой счет, весь во власти моего искусства, и никуда за пределы его не уйдешь. А может быть, для тебя открылось то, чего ты не понимал раньше, - зависимость мастера от вещей, создаваемых им?

Он замолчал, как бы ожидая ответа, но я не ответил.

-- Скажи, - снова шептал он, - если бы тебе, положим, пришло в голову убить меня, - скажи, ушел бы ты от моей власти? Нет, несмотря на всю ненависть, на все зло, которое ты мог бы мне причинить, ты так же под властью моих замыслов, как и я. Ты слышишь, - они зовут меня, я изнемогаю от этой власти их надо мной, не в силах будучи дать им самостоятельную законченную жизнь и этим оторвать их от своих родников. Но будешь изнемогать и ты, так как ты искалечен самим богом, мой бедный Мартино.

Он сидел надо мной и каркал как ворон, как ночная проклятая тень, высасывая из меня силы. Неспособный противиться, я испытывал то же чувство, что приходит в тяжелом сне, когда ждешь неминуемого удара, которого не можешь отвести.

-- Я наложил бы давно на себя руки, - все продолжал Луиджи, - но не могу, не хватает сил губить вместе с собой все это, - он повел в едва

проясняющейся темноте рукой, и я не мог понять, показывал ли он на сухие чурбаны или обозначал этим движением рой серебристых звуков, непрерывно сопровождавших ночь. - Что, если б ты помог мне в этом?

-- Луиджи, - сказал я, стуча зубами, - заклинаю тебя, прекрати эти разговоры, уйди от меня ради бога, в которого ты не веришь, ради самого любимого тобой человека, ради...

То, чего я не закончил, вспомнив его угрозу, закончил он сам:

-- Ради Наталины, - сказал он и расхохотался; ушел и затих у себя на постели.

-- Наталины!.. - захохотал он еще горловым, быстро смолкшим хохотом.

-- Наталины... - повторил он уже с отчаянием, и снова ночь продолжалась в общем молчании, и снова я, объятый ужасом, слушал, как порой намечался квартет, порою звучали одни лишь скрипки, но, как всегда в инструментах Луиджи, звук не расстился, а легко сверкал и летел.

Подчас Луиджи начинал плакаться:

-- Я сделал все, что было можно, - говорил он жалобно, - я проверил все остатки надежд. Я ценил попрежнему выше всего работу над любимым делом; я думал, что она умирает только вместе с человеком. И вот, для того, чтобы еще что-то сделать, я связался с тобой. Мне нужен был помощник, - на кого же мне было рассчитывать, как не на тебя? Я сделал для тебя не мало, и мне казалось, что я имел право на твою помощь... Какая ошибка! Никто никому ничего не должен и нет ничего хуже, как навязывать другому свою немощную близость.

Как поздно стал он сознавать истинное положение! Но это не мешало ему тут же бесстыдно добавить:

-- Зачем я осквернил свою жизнь соседством тупого ханжи...

Временами раскаяние приходило к нему:

-- Нет, - говорил он, - я больше не могу. Мой рассудок мутится, мне приходят в голову такие мысли, что я ужасаюсь им. Знаешь ли, что мне не раз уже приходило желание схватить тебя и всадить тебе в горло стамеску? И подумать только, что я хочу убить тебя, оказавшего мне столько добра в моем беспомощном положении... - Тут он вероломно улыбался. - Нет, лучше уж уйти из жизни мне. Это будет справедливее. Что я теперь? Такое же животное, как ты. Только ты слеп душой от рождения, а моя душа ослепла вместе с телом... Но это выше моих сил, - добавлял он, - если я покончу с собой, какой темный отзвук ляжет на все голоса моих скрипок...

Глупец! Разумеется, его рассудок все больше мутился. Он полагал, что все сделанное им зависит от его судьбы... А может быть, это так и было;

может быть, нечистая связь между ним и его детищем продолжалась? Я подумал о тех его инструментах, которые были приобретены в церковные капеллы. Нечего сказать, хорошее приобретение, достойный оттенок вносили они в сопровождение благочестивых молитв!

До сих пор я удивляюсь, как хватило моих сил и терпения вынести все эти испытания и как удалось сохранить самому рассудок. Память изменяет мне только в том, сколь долго длилось это время, когда я способен был вот-вот, забыв об ответственности, которую возложили на меня французы за целость Луиджи, бросить его на произвол судьбы, или размозжить ему голову, а затем отдаться в руки властей. Лишь жаркая молитва, да память о предсмертных заветах отца Себастьяна поддерживали меня.

Я избегал появляться в городе с тех пор, как стал замечать, что все друзья Луиджи как-то подозрительно расспрашивают меня о его здоровье. Видимо, миланский скряга Ридольфи разболтал что-либо на мой счет, так как настойчивые расспросы не прекращались, а Сториони при встрече даже угрожал мне какой-то расправой.

Чувства мои притупились, я мало придавал значения этим толкам, мучимый душевным разладом. Поэтому, когда я увидел однажды, что несколько человек, во главе со Сториони, подходят к нашему дому, я даже не пошевелился.

-- Здравствуй, Луиджи, - сказал Сториони, входя.

-- Лоренцо, - отвечал тот, вздрогнув при звуке его голоса, - последний раз при встрече с тобой мы пили и прощались, чтобы больше не видеться. Пришел ли ты сюда, думая, что лицезрение убогого Руджери лучше, чем общенье с его скрипками, или ты пришел по зову своей самодовольной и жестокой глупости, которой приятно сравнение себя с калеккой? Потому что я тебя не звал...

-- Луиджи, - возразил Сториони, - ты знаешь, что я люблю твои скрипки, и одна из лучших, твой подарок, висит в моем доме, деля со мной скорбь и веселье. Но, правду сказать, я дорожу тобой больше, чем всеми скрипками, а к больному идут, не ожидая его зова. Со мной друзья - Чезаре, Джузеппе, Карло...

-- Уж не взял ли ты их на подмогу, чтобы сообща с ними заставить меня что-то сделать?

-- Нет, - отвечал Сториони, - мы не хотим тебя принуждать ни к чему, но мы хотим тебя убедить кое в чем, и ты увидишь, что тебе легко будет согласиться с нами. Но нам нужно быть с тобою наедине... Мартино, выйди отсюда.

Луиджи молчал, ничем не подтверждая его требования. Я мог бы

остаться, но, не зная, какой оборот примет разговор, я предпочел удалиться из мастерской в соседнюю комнату, готовый ко всякому возможному исходу дела. Мешок с моим скарбом был, как всегда, увязан, я мог встать и уйти куда глаза глядят, и в этот миг я принял бы изгнание с величайшим облегчением - так тяжка стала моя жизнь в этом доме.

Бог судил иначе. Не знаю, что за спор разгорелся в мастерской. Я слышал за дверьми громкие голоса: то говорил Сториони, то кричал в ответ Луиджи. Не раз произносили имя мое и Наталины, но о чем шла речь, я понять не мог, пока не распахнулась дверь и незваные гости стали, пятясь, отступить назад.

-- Нет, я не откажусь от своего, - гремел Сториони, - согласен ты с этим или нет... Ты хочешь, несчастный, забыть о простой жизни, ты хочешь подавить в себе все человеческое и вообразить себя бездушной машиной, делающей скрипки...

-- Уходите все!.. Прочь... Я сам знаю, что мне нужно... - хрипел между тем Луиджи в исступлении бешенства, и, хватая все, что попадало под руку, он швырял по мастерской рубанки, доски и молотки. Слепой, он не мог попасть в своих недавних приятелей, и вместо них разбивал инструменты, висевшие по стенам и ломавшиеся со зловещим треском и звоном.

Никогда еще я не видел Луиджи таким страшным - он утратил человеческий облик, скорее какое-то исчадие ада металось по комнате, чем создание божие.

Потихоньку, чтобы не раздражать бесноватого, я вышел из дома и тут увидел неподалеку Сториони с его приятелями, - они долго совещались о чем-то. Перед тем как окончательно уйти, Сториони показал мне издалика кулак. Я понял, что это значит, когда в тот же вечер к нам пришел француз и, назвав себя сержантом Мегу, потребовал, чтобы его приняли на постой.

Несомненно, это было делом рук Сториони. Видя, что его попытка опорочить меня и добиться моего ухода не повела ни к чему, он решил ввести таким путем в дом соглядатая и защитника Луиджи. По тому, как легко это ему удалось, можно было судить, насколько санкюлоты ценили Луиджи.

Он отнесся безучастно к появлению француза, я же был рад ему. Я надеялся, что присутствие третьего человека рассеет всю чертовщину, вселившуюся в дом. Я ошибся: мой слух попрежнему улавливал ежечасное трепетание легких звонов, и так же, как прежде, Луиджи, не смущаясь присутствием Мегу, принимался за свое: повторял свои бредни о том, какие он мог бы сделать квартеты на удивление всему миру и как я бездарен и неуклюж в работе.

Мегу нас не слушал. Он напевал свои песенки, ходил на учење, чинил седло или сидел перед зеркалом и расчесывал свои длинные белые усы; он был небольшого роста с животиком и любил волочиться за женщинами. С нами он разговаривал редко, плохо зная итальянскую речь и будучи, видимо, недоволен тем, что его заставили жить с нами на пустыре, в бедном и мрачном доме...

Впрочем, иногда, расхваставшись, Мегу начинал рассказывать о Париже, о казнях, производимых на одной из его площадей, об унижениях и преследованиях, которым подвергаются там вельможи и духовенство. Тут он доставал обычно свою седельную сумку и вытаскивал оттуда тщательно завернутую карточку, доказывавшую его принадлежность к якобинскому клубу, - как я мог понять, это как бы особый орден, который объединил наиболее злостных кровопийц и разбойников парижской черни. И надо было видеть, с какой гордостью показывал нам Мегу свой билет цареубийцы. Я не сомневался в том, что этот человек был готов ежечасно на самое вопиющее злодейство, как и на тягчайшее лишение, даже смерть во имя тлетворных идей, разносимых повсюду санкюлотами. Не верил я ему лишь тогда, когда он начинал со смехом вспоминать, что был когда-то и он добрым католиком и был допущен к конфирмации.

Мало-по-малу Луиджи стал чаще вступать с ним в разговоры, и можно себе представить, до чего они договаривались. Мегу рассказывал о каких-то чудовищных мессах, совершаемых во Франции отпетыми революционерами при огромном стечении народа, а Луиджи, поддакивая ему, повторял гнусную выдумку о том, как якобы кардинал Руффо выгнан с папской службы за воровство. Каково было все это слушать!

Шли дни, я слабел. Звон стоял у меня в ушах, тайный недуг все больше овладевал мною. Дневной свет не приносил теперь облегчения. Я привыкал к тому, что каждый шум, каждое колыхание воздуха стало для меня отголоском ночных звуков. Я бродил как зачумленный, не зная, смогу ли дожить до дня, когда брат Грегорио даст знак к уходу.

А между тем Луиджи готовил мне новое испытание...

Однажды, в отсутствие Мегу, он схватил меня за руку и сказал торопливо:

-- Возьми кувалду, Мартино, возьми-ка скорей. Я тебя научу одной вещи, поистине лучшей из того, что я когда-либо придумал...

Я невольно послушался, и когда повернулся к нему, уже взявши кувалду, то увидел Луиджи сидящим с длинной стамеской в руках, которую он крепко прижимал острием к груди.

-- Вот тут, - бормотал он, - между этими ребрами... Разве это не

лучшее, что нам осталось с тобой сделать?.. Ударь покрепче, не предупреждая меня... Поверь мне, это самое христианское дело, которое выпадало тебе на долю...

Луиджи задыхался, спеша, не чувствуя негодования, которое меня охватило. Я весь дрожал внутренней дрожью и молчал, сдерживая тяжелое дыхание.

-- Я не могу больше ничего сделать, пойми это, я недостоин жить...

Луиджи замолчал. Он бледнел, лоб его покрылся легкой испариной, но руки упрямо держали стамеску.

А я, окаменелый, стоял, прислушиваясь к тому, что он мне подсказывал, и борясь всеми силами с тяжелым багровым туманом, заволакивающим мне мир. Никакая сила не могла бы сдвинуть меня с места.

Наконец Луиджи пошевелился, беспокойно мотнув головой, как бы не понимая чего-то.

-- Что же? - спросил он тихо.

-- Проси божией милости, - едва выговорил я. - Если хочешь, я могу позвать к тебе исповедника из аббатства...

-- Иди к дьяволу со своими аббатами, - внезапно совсем уже по-другому заговорил Луиджи.

Щеки его дергались. Он, вытянувшись, сильно оперся затылком о стену, лицо со следом ужасной раны и мерцавшими красными глазницами было обращено кверху. И тут я понял всю мерзость его падения: сатанинская улыбка оскалила его зубы, а брови изогнулись мрачным черным знаком. За последнее время множество морщин изрезали его лицо, и теперь они клали на него печать адских мук, зависти к живым, вероломства, лживости и пустого неудовлетворенного тщеславия, которое он переживал.

-- Ты даже на это не способен, - проговорил он. - Впрочем, ты прав: тебя повесили бы без разговоров. Да и мне еще рано умирать, я еще гожусь кое на что...

Стук в окно положил конец этому безобразному кривлянью Луиджи. И какова же была моя радость, когда, выйдя, я узнал брата Грегорио.

-- Будь готов, брат, - сказал он мне, - к ночи оставить Кремону. Посланец отца кардинала здесь для того, чтобы сопровождать вас, шестерых новых воинов армии веры, в пути через заставы еретиков. Будь через час в церкви Санта Мария Нуова, где получишь от него указания о месте ночной встречи и условишься со спутником своим, так как пойдете порознь тремя дорогами, дабы не навлечь подозрения. Господь с тобой в

пути и в сражении.

Брат Грегорио благословил меня и быстро удалился, а я лишь ненадолго вернулся домой проверить узел с вещами. При входе моем Луиджи прынул от двери, и если бы я не был так поглощен желанной вестью, я придал бы этому должное значение. Но в своем радостном волнении я тотчас даже не подумал об этом.

Не медля я отправился в указанную церковь и разыскал по слову брата Грегорио нужных людей. Мы задержались дольше, чем думали, обсуждая план бегства, и лишь к вечеру, подходя к дому, я вспомнил о Луиджи, и недоброе предчувствие закралось мне в душу.

Окно было освещено изнутри, из чего я понял, что сержант Мегу дома, так как Луиджи не нуждался в свете. Действительно, я различил в глубине мастерской сержанта, который стоял около Луиджи, красный и, как видно, растерянный, а подкравшись к двери, я услышал его голос:

-- Где, у дьявола, эта церковь? У вас их тут дьявольски много. Где я их теперь найду, собачье имя...

-- Найдешь, товарищ, - отвечал со смехом Луиджи, - да, торопись, иначе найдешь ее пустой, - мерзавцы разойдутся.

Ворча и ругаясь, сержант направился к выходу, и я едва успел укрыться, чтоб избежать с ним встречи и переждать, пока смолкнет его брань, которую он продолжал расточать в темноте.

Войдя в дом, я застал Луиджи в задумчивости, он только слегка улыбнулся мне в лицо.

Я задвинул запоры на дверях и, схватив сразу кувалду, воскликнул:

-- Бери стамеску, Луиджи, спеши, проклятый предатель, получить то, чего хотел...

Но Луиджи, одним прыжком вскочив с места, уже стоял с виолончелью в руках и, размахивая ею над головой, кричал:

-- О нет, теперь мы еще посмотрим!.. Ты видишь, что я пригодился раньше, чем ожидал...

Он вертел инструментом над головой, подвигаясь по большому помещению навстречу мне, и я на мгновение удивился в душе его глупости: что мог он сделать против кувалды хрупкой виолончелью? Но скоро я понял его цель, взглянув на висевший надо мной венецианский фонарь, Луиджи целил в него с тем, чтобы, разбив, уравнять условия борьбы.

Изловчившись, я одним ударом раскрошил кузов. В руках Луиджи осталась шейка с неотбитым куском нижней деки, на котором я ясно различил подлые литеры его этикетки, долженствующие означать свободу, равенство и братство - девиз санкюлотов, заменивший им бога.

Луиджи, защищаясь, вытянул вперед руки. Новым ударом я перебил их, готовя удар в голову.

-- Молись, безбожник, - сказал я, видя его обезвреженным и не желая лишать его милосердия господя.

Тогда Луиджи, поняв, что ему не уйти, сделал шаг вперед и плюнул мне в лицо.

Я света не взвидел. Тяжелая кувалда, как перышко, взлетела в моих руках.

-- Погибай же, Каин, на вечные времена! - воскликнул я и ударил его сразмаху по голове.

Удар был силен, - таким ударом я мог бы свалить с ног быка, - но я знал живучесть Луиджи, и, не помня себя, я продолжал наносить удары кувалдой до тех пор, пока все вокруг не окрасилось его кровью.

Тут только, остановившись, я прислушался. Была полная тишина. В первый раз за долгое время слух мой не был отягощен адскими звонами.

Тогда я выбежал из дома и покинул Кремону через Ворота Святой Маргариты. Обойдя город слева, я омыл в волнах По следы нечистой крови и соединился с людьми, ставшими мне с тех пор братьями в святом деле защиты родины и матери церкви от насильников и святотатцев.

Этим закончена повесть моя о днях моей юности и моего учения мастерству. Все это время борьбу мою с вероотступником, надевшим на себя личину мастера, и победу мою над ним я могу по справедливости считать первым и лучшим своим подвигом. Но отчего мысль моя всякий раз смущается при воспоминании о Луиджи?

С тех пор я видел много крови, смертей и пожарищ. Сбылось предсказание отца Себастьяна. Своими руками вешал я предателей церкви, во имя божье разя вольнодумцев, и ни разу стоны их не тронули, а мольбы о пощаде не разжалобили меня.

Мне довелось видеть святого старика, пришедшего из далекой страны снега и холодного солнца, во главе храбрых и боголюбивых войск спасать поколебленные троны и восстанавливать низвергнутые алтари. Знатные дамы целовали его руки при встрече во всех городах, начиная с Вены. Генерал Суворов вступал в Турин тогда, когда я выполнял там данные мне поручения. Кремона была взята его войсками через три месяца после того, как я покинул ее, и я уверен, что если б я не судил своим судом Луиджи Руджери, безбожник все равно пал бы под ударом казачьей сабли, так как, несмотря на свою слепоту, нашел бы способ быть полезным французам в самом опасном месте.

Я участвовал в штурме города святого Дженнаро после того, как, вырезав три тысячи лучших его сынов, еретики полгода творили там свою злую волю. Русские войска и турки сражались там бок о бок с нами, англичане подошли с моря. Жестоко отомстили мы за свои потери. Реи кораблей адмирала Нельсона гнулись под тяжестью повешенных тел, суда осаживались глубже, и гавань кишела трупами врага. Я помню надменную красоту и блистающий взгляд синьоры Гамильтон тогда, когда я, в составе команды, приводившей в исполнение решение королевского суда, был на смотру на адмиральском фрегате. Одна из пуль, пронзивших седого смутьяна Карачиолло, была моей.

Я не мало умножил горы из трупов безбожников, их жен и детей, - горы, завалившие улицы Неаполя... Все это мне предстоит еще записать, равно как и неудачи, которые допустил господь бог для нашего испытания.

Но среди всех моих кровавых и тяжких трудов я не могу забыть Руджери, первого принявшего казнь от моей руки.

Вот уже десять лет на поясе моем у рукоятки кинжала висят четки. Нет того шага или поступка, который не начинал бы я молитвой. Ударом, сразившим Луиджи, я покончил и с теми бесами, которые сводили меня с ума адскими мотивами - я больше не слышу их. Но вместе с тем навсегда померкла моя страсть к скрипкам. Я забыл, что значит этот восторг - коснуться струн благородного, нежного инструмента, сделанного старым мастером. Лепет смычка мне кажется мертвым и плоским; я не могу слышать певучего звука без того, чтобы не вспомнить вновь с ужасающей силой Луиджи. Завидя скрипку или виолу, я бегу без оглядки, и вслед мне, вдруг потускнев, звук обращается грохотом, как будто бьют в натянутую ослиную шкуру.

В туманных снах хороводы безмолвных скрипок пляшут передо мной гнусный шабаш, их эфы свирепо подмигивают мне, грифы изгибаются, как змеи, и тянутся ко мне длинными, как жала, языками оборванных струн.

В смертельной тоске размахиваю я кувалдой, и эфы кровоточат, как глазницы Луиджи...

Боже мой, неужели же, избрав меня своим орудием, ты не защитишь от адских сил?..

*Источник текста: ([Ровесники: Сборник содружества писателей революции "Перевал". М.: Л. Земля и фабрика. 1930. \[Кн.\] 7](#))*